

СЕРБСКОЕ
СЛОВО

Гробница
для
Бориса
Давидовича

Данило
Киш

СЕРБСКОЕ СЛОВО Гробница для Бориса Давидовича

Данило
Киш

13

«Количество истории, или ужаса,
которое пришлось вынести пишущему,
еще не делает его книги большой литературой.

Но география – это судьба.
Киш не мог уклониться от высокой роли
и чувства ответственности писателя,
которые он, в данном случае, буквально,
получил вместе с территорией проживания».

Сьюзен Зонтаг

«Максима Малларме "Все на свете существует,
чтобы войти в книгу" не только
обрела эстетическую завершенность,
но и была восстановлена в общественной
значимости под беспокойным пером
моего балканского учителя Данило Киша».

Алеш Дебеляк



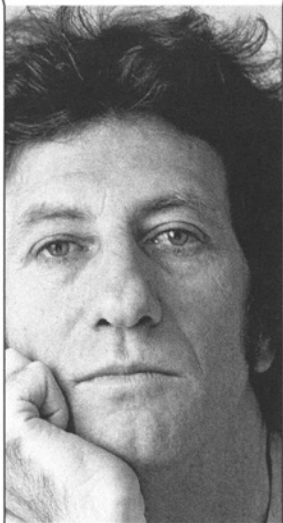
Центр
книги
Рудомино

ISBN 978-5-00087-138-6



СЕРБСКОЕ СЛОВО





Д а н и л о
К и ш
Гробница
для
Бориса
Давидовича

С Е М Ь Г Л А В
О Д Н О Й П О В Е С Т И

М о с к в а
Ц е н т р
к н и г и
Р у д о м и н о
2 0 1 7

УДК 821.163.4-3

ББК 84(4)-44

K46

Редакционно-издательский отдел
Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино

Перевод на русский язык осуществлен
при финансовой поддержке
Министерства культуры и информации
Республики Сербия

Издательство благодарит
Вукосаву Джапа-Иветич за содействие,
оказанное при подготовке перевода к печати

Печатается с разрешения
Librairie Arthème Fayard
и литературного агента Анастасин Лестер

Ответственный редактор Ю.Г. Фридштейн
Дизайн серии Т.Н. Костериной

В оформлении переплета использован
фрагмент рисунка Юло Соостера «Композиция»

Киш, Данило

K46 Гробница для Бориса Давидовича: семь глав одной повести /
Данило Киш; [перевод с сербского Елены Сагалович]. – М.:
Центр книги Рудомино, 2017. – 160 с.

ISBN 978-5-00087-138-6

«У древних греков был достойный уважения обычай: тем, кто сгорел, кого поглотили кратеры вулканов, тем, кто погиб в лаве, тем, кого растерзали дикие звери или сожрали акулы, тем, кого расклевали стервятники в пустыне, устанавливали на их родине так называемые *кенотафы*, надгробные памятники, «пустые могилы», потому что тело – это огонь, вода или земля, а душа – альфа и омега, ей надо возвести святилище». Так Данило Киш (1935–1989) своей повестью «Гробница для Бориса Давидовича» (1976) воздвиг памятник всем жертвам политических репрессий. Книга переведена на 28 языков. На русском языке публикуется впервые.

Danilo Kiš. Grobnica za Borisa Davidoviča.

© Danilo Kiš Estate, 1976

© Юло Соостер (наследники), 2017

© Е. Сагалович, перевод, послесловие, 2017

© ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, 2017

© ООО «Центр книги Рудомино»,
издание на русском языке, оформление, 2017

Нож с рукояткой из розового дерева

Мирко Ковачу

У рассказа, который последует, рассказа, рождающегося в сомнении и недоумении, есть то *несчастье* (а кто-то называет это счастьем), что он правдив: записан рукой порядочных людей и надежных свидетелей. Но чтобы стать правдивым именно так, как о том мечтает его автор, надо бы изложить его на румынском, венгерском, украинском или идиш, или, что предпочтительнее, на смеси этих языков. Тогда, по логике случая и мутных, глубоких и неосознанных событий, мелькнуло бы в сознании рассказчика и какое-нибудь русское слово, иногда нежное, как *телятина*, иногда твердое, как *кинжал*. То есть, когда рассказчик смог бы достичь недостижимого и страшного часа вавилонского столпотворения, то были бы услышаны униженные мольбы и ужасные проклятия Ханны Кшижевской, произнесенные на румынском, польском, украинском, поочередно (как будто вопрос ее смерти только следствие какого-то большого и судьбоносного недоразумения), чтобы в предсмертной судороге и смирении ее бормотание превратилось в молитву о мертвых, произнесенную на древнееврейском, языке рождения и умирания.

Положительный герой

Микша (будем пока называть его так) пришивал пуговицу быстрее, чем за десять секунд. Зажгите спичку и держите ее между пальцами. С того мгновения, когда вы чиркнули о коробок, до той секунды, когда огонь лизнет ваши пальцы, Микша уже пришил пуговицу к офицерскому мундиру. Реб Мендель, у которого Микша был в подмастерьях, не может поверить своим глазам. Поправляет очки, берет спичку и говорит на идиш: «Ну-ну, еще разок, герр Миксат». Микша опять вдевает нитку в иглоку, реб Мендель улыбается, глядя на подмастерья, потом быстро бросает спичку в окно и плюет на пальцы. Микша, уже пришив пуговицу к мундиру герра Антонеску, триумфально заявляет: «Реб Мендель, хватит одной спички, чтобы сжечь все нефтяные поля Плоешти». Пока он вглядывается в далекое будущее, освещенное огромным пожаром, реб Мендель теми же двумя еще влажными пальцами быстро тянет пуговицу на мундире и скручивает ее, как будто сворачивает шею цыпленку. «Герр Миксат, – говорит он, – если бы вы не были таким глупым, то могли бы стать отличным мастером... Известно ли вам, что, по оценкам, нефтяные запасы в Плоешти составляют несколько миллионов галлонов сырой нефти?» – «Это будет дивное пламя, реб Мендель», – произносит Микша загадочно.

Кто кого перемудрит

Микша не стал мастером. Он пришивал пуговицы у реб Менделя еще два года, слушая его талмудическую мудрость, а потом ему пришлось уйти, и вослед ему неслись

проклятия. Однажды весной важного для нас 1925 года реб Мендель пожаловался, что у него пропала курочка-кохинхинка. «Реб Мендель, – ответил ему Микша, – поищите вора среди евреев». Реб Мендель осознал тяжесть оскорбления, и некоторое время не упоминал о своей кохинхинской курочке. Микша тоже молчал, ждал, когда реб Мендель усмирит свою гордыню. Старик боролся сам с собой, возлагая на алтарь своей талмудической надменности каждый день по одной курочке. Караулил с палкой в руках в курятнике, до зари, пугая хорька лаем, похожим на собачий. На заре засыпал, а из курятника пропадала еще одна курица. «Пусть меня накажет великий праведник, изрекший, что все живые твари в равной мере заслуживают его внимания и милости, – сказал реб Мендель на девятый день. – Разве может кохинхинская курочка, которая стоит не меньше пяти червонцев, сравниться с хорьком, который убивает бедняжек, да еще смердит на всю округу?» – «Не может, реб Мендель, – говорит Микша, – не может сравниться курочка, которая стоит пять червонцев, с вонючим хорьком». И не говорит больше ничего. Ждет, пока хорь не уничтожит все, что уничтожить может, и докажет реб Менделю, что его талмудическое бормотание о равенстве всех Божьих тварей не значит ничего, пока не установится на земле справедливость средствами земными. На одиннадцатый день реб Мендель, изнуренный безрезультатным бдением, отекающий, с красными глазами, с перьями в волосах, встал перед Микшей и начал бить себя в грудь: «Герр Миксат, помогите!» – «Ладно, реб Мендель, – говорит Микша. – Почистите кафтан и выньте перья из волос. Дело предоставьте мне».

Капкан

Капкан, который смастерил Микша, был слабой копией тех капканов, которые когда-то мастерил его дед на Буковине: мутное и ностальгическое воспоминание. Вне этого контекста то был простой ящик из прочных буковых досок, с крышкой, открывавшейся снаружи, а не изнутри. Для приманки он взял яйцо, о котором было достоверно известно, что в нем уже разлагается, как в гробу, цыпленок кохинхинки. Утром, едва войдя во двор, Микша знал, что животное поймано: вонь доносилась до самых ворот. Однако реб Мендель не показывался из дома. Изнуренный долгим бдением, он отдался во власть сна и судьбы. Микша погладил тяжелой крестьянской рукой последнюю, оставшуюся в живых, окаменевшую от страха курицу реб Менделя и выпустил ее во двор. Потом поднял крышку с зубцами из кривых гвоздей и в тот момент, когда из щели высунулся влажный носик зверька, он отправил его назад сильным ударом кулака. Ловко просунул ржавую проволоку через ноздри хорька, связал ему лапы и повесил на дверной косяк. Вонь ужасная. Сначала он сделал надрез вокруг горла, как пурпурное ожерелье, потом еще два надреза, у основания лап. Вывернув шкурку у шеи, сделал два надреза для пальцев, вроде петель для пуговиц.

Разбуженный жутким визгом зверька или кошмарным сновидением, вдруг появляется реб Мендель. Зажимая нос полый мятого кафтана, с ужасом в покрасневших глазах смотрит на живой кровавый клубок, который корчится на притолоке двери, подвешенный на проволоке.

Вытерев нож о траву, Микша выпрямляется и говорит: «Реб Мендель, я избавил вас от хорьков раз и навсегда». Когда, наконец, реб Мендель смог ответить, голос его звучал хрипло и страшно, как глас пророка: «Сотрите кровь с рук и лица. И будьте прокляты, герр Миксат».

Последствия

Вскоре Микша на своей шкуре испытал, что значит проклятие реб Менделя: во всей Антоновской области мастера требовали у подмастерьев рекомендаций ни от кого иного, а только от реб Менделя. Но при упоминании Микши еврей начинал бормотать на идиш и древнееврейском попеременно, бил себя в грудь и рвал волосы на голове, как будто речь о самом диббук¹. Микшу не хотел брать на работу даже реб Юсеф, худший из всех мастеров вообще, а не только портных. Узнав о проклятии реб Менделя, он уволил Микшу через два дня после найма. Микша в ответ торжественно поклялся, что в один прекрасный день он отомстит за оскорбление, нанесенное талмудистами.

Аймике

В тот же год Микша знакомится с неким Аймике, Э.В.Аймике, который представлялся студентом-правоведом. Этот Аймике до недавнего времени работал в фирме *Дигтярев* в должности кладовщика, но был уволен, как он утверждал, из-за нелегальной деятель-

1 Диббук (идиш) – злой дух в фольклоре евреев-ашкенази, душа умершего человека. – *Прим. перев.*

ности. Микша и Аймике, сблизившись на почве ненависти, пытаются как-то заработать на жизнь, участвуя в облавах, которые граф Багрян организует в окрестностях, и где антоновский люмпен-пролетариат в круговой охоте буковинской и закарпатской знати служит всего лишь заменой собак. Сидя на невыносимом холоде в вязовой роще, когда вдали раздается эхо охотничьих рожков и слышен нервный лай охотничьих псов, Аймике рассказывает Микше о будущем без собак, знати и охотничьих рожков. Когда звучит халали – сигнал к окончанию охоты, Микша едва успевает добежать до места, где проливается кровь дикого вепря, и где господа, под адский лай псов поднимают кривые, серебром обрамленные кубки-рога, выпивая из них залпом.

Тот же самый Аймике (который через два месяца опять устраивается на работу на склад фирмы *Дигтярев*) на одной тайной сходке в подвале какого-то дома на окраине Антоновки принимает Микшу в организацию. Одновременно он требует, чтобы тот опять нашел работу, чтобы в нем не затупилось революционное лезвие.

Микше везет. Однажды в августовский полдень он лежит на краю канавы у почтовой дороги на выезде из Антоновки, когда мимо проезжает в двуколке герр Балтеску. «А правда, – спрашивает он, – что ты снял шкуру с живого хорька и вывернул ее как перчатку?» – «Правда, – отвечает Микша, – хотя вас это, герр Балтеску, совершенно не касается». – «С завтрашнего дня можешь выходить ко мне на работу, – говорит герр Балтеску, нисколько не оскорбившись дерзостью Микши. – Только имей в виду, – кричит он Микше, – ягнята

астраханские». — «Кто умеет освежевать живого хорька, тот сумеет и каракулевую шкурку снять, не делая прорезей для указательных пальцев», — с апломбом кричит ему вслед Микша.

Задание

В конце сентября Микша возвращается на велосипеде из имения герра Балтеску, антоновского торговца мехами. Над лесом поднимается красное облако, предвещающее осенние ветра. По дороге к нему присоединяется на своем сверкающем велосипеде Аймике и некоторое время едет рядом с ним, не говоря ни слова. Потом назначает ему встречу на вечер завтрашнего дня и на перекрестке быстро сворачивает на боковую улицу. Микша появляется точно в назначенное время и подает условный знак. Аймике отворяет ему дверь, не зажигая света. «Я коротко, — говорит Аймике. — Каждому члену организации я назначил встречу в другом месте и в другое время. Шпионы появились только в одном из этих мест». (Пауза). «На водяной мельнице Багряновых», — наконец говорит он. Микша по-прежнему молчит. Ждет, когда Аймике назовет имя предателя. «Ты не спрашиваешь, — говорит Аймике, — кому я назначил встречу на водяной мельнице Багряновых?» — «Кому бы ни назначил, — отвечает Микша лаконично, — не хотел бы я оказаться в его шкуре».

В тот вечер Аймике не назвал ему имени предателя. Он не назвал его никогда. Как будто не хотел, чтобы с его языка слетело это опозоренное имя. Только сказал ему, что верит в его (Микши) преданность и ненависть.

И сказал ему: «Ты увидишь лицо предателя. Только смотри, чтобы видимость тебя не обманула: лицо предателя может быть совершенно невинным».

Микша проводит бессонную ночь. Пытается надеть смертную маску предателя на лица своих товарищей по борьбе, но она сливается с чертами каждого из них и никому не подходит полностью. Опоясанный резиновым фартуком, с руками по локоть в крови, весь следующий день он проводит, закалявая и разделявая ягнят в имении герра Балтеску. Вечером умывается в поилке, надевает парадный костюм, продевает красную гвоздику под ленту шляпы и едет на велосипеде к лесу. Оставшийся путь к водяной мельнице проделывает пешком, через осенний лес, ступая по густой опавшей листве, заглушающей страшную решительность его шагов.

Лицо предателя

Прислонившись к проржавевшей ограде плотины, засмотревшаяся в мутные водовороты, его ждет Ханна Кшижевская. Здесь, у полуразрушенной и прогнившей водяной мельницы Багряновых, глядя, как вода уносит желтые листья, она, наверное, раздумывала об угрюмой смене времен года. На лице у нее были веснушки (сейчас, в полумраке осеннего вечера едва заметные), но они не должны были быть печатью предательства, эти солнечные зайчики; может быть, печатью расы и проклятия, но не печатью предательства. Примерно месяц назад она приехала в Антоновку, сбежав из Польши, где ее преследовала полиция. Прежде чем добраться до границы, она пять часов пролежала в ледяной воде,

в тендере локомотива, укрепляя свой дух стихами Броневского. Товарищи ей выправили фальшивые документы, предварительно проверив ее прошлое: Ханна была безупречна в своей безыскусности (за исключением крошечного пятнышка буржуазного происхождения). В Мукачево она давала частные уроки немецкого (с сильным влиянием идиш), была связной между мукачевской и антоновской ячейками, читала Клару Цеткин и Лафарга.

Выполнение задания

Придерживаясь линии поведения Аймике, Микша не произнес ни слова. На это, по правде говоря, у него было больше прав, чем даже у самого Аймике, тем более, что он видел Лицо Предателя. Показалось ли ему в тот момент, что лицу Ханны Кшижевской, лицу, усыпанному солнечными зайчиками, как песком, подходит личина предателя как золотая посмертная маска? Документы, которыми мы пользуемся, говорят страшным языком фактов, и в них слово *душа* имеет оттенок богохульства. С уверенностью можно утверждать следующее: в роли вершителя правосудия Микша, не говоря ни слова, сомкнул свои короткие пальцы на девичьей шее и сжимал их до тех пор, пока тело Ханны Кшижевской не обмякло. Тогда тот, кто выполнил свое задание, на мгновение остановился. Надо было, как этого требуют страшные правила преступления, избавиться от трупа. Склонившись над девушкой, он оглянулся (вокруг только угрожающие тени деревьев), взял ее за ноги и дотащил до реки. То, что случилось потом,

с момента, когда он столкнул тело в воду, похоже на какую-то старинную легенду, в которой, чтобы победа справедливости была гарантирована, смерть использует разные хитрости, стремясь избежать принесения в жертву детей и девственниц: в середине концентрических кругов Микша видит тело утопленницы и слышит ее безумные вопли. Это не было ни галлюцинацией, ни призраком, которые являются нечистой совести убийц. Это было тело Ханны Кшижевской, которая рассекала ледяную воду паническими, но уверенными движениями, высвобождаясь из тяжелого каракулевого полубубка с двумя красными амариллисами, вышитыми на талии. Убийца (которого мы еще пока не должны так называть), окаменев, смотрит, как девушку относит к противоположному берегу, и как кожаный буковинский доломан плывет вниз по быстрому течению реки. Недоумение продолжается одно мгновение. Ринувшись вниз по течению, Микша достигает железнодорожного моста и попадает на противоположный берег в тот самый момент, когда за его спиной слышен долгий вой локомотива, сообщавшего о своем прибытии звонкой вибрацией рельс еще издалека. Девушка лежит в прибрежном иле, между корявыми сучьями верб. Тяжело дыша, она пытается подняться, но не убежать. Вонзая в ее грудь короткий буковинский нож с рукояткой из розового дерева, и сам потный и запыхавшийся, Микша едва может различить отдельные слова в дрожащем, мутном, судорожном потоке слогов, доносящихся сквозь грязь, кровь и вопли. Удары он наносит быстро, теперь уже с какой-то справедливой ненавистью, дающей замах его руке. Сквозь перестук вагонных ко-

лес и приглушенный гул железной конструкции моста девушка начинает говорить, роптать на румынском, на польском, на идиш, на украинском, вперемешку, как будто вопрос ее смерти – только следствие какого-то большого и фатального недоразумения, далекий корень которого сокрыт в вавилонском смешении языков.

С тем, кто видел, как воскресает мертвец, призрак играть не будет. Микша вытаскивает внутренности из трупа, чтобы тело не всплыло, а потом толкает его в воду.

Неопознанный труп

На объявление, которое чешская полиция поместила в газете *Hlasatel policejní*, в котором было дано описание утопленницы восемнадцати-двадцати лет, со здоровыми зубами и рыжими волосами, никто не откликнулся. Тело было обнаружено через неделю, в каких-нибудь семи милях ниже по течению от места, где было совершено преступление. Однако личность жертвы не была установлена, несмотря на заинтересованность полиции трех соседних стран раскрыть загадочное дело. Поскольку это было небезопасное время взаимных подозрений и шпионажа, такая озабоченность понятна. В отличие от ежедневных газет, также опубликовавших новость об утопленнице, упомянутое полицейское издание дало детальное описание ран, приведших к смерти. После перечисления всех ран в области груди, шеи и спины, было насчитано еще двадцать семь ударов, нанесенных «острым предметом, предположительно ножом». В одной из статей говорится о способе, которым

из трупа были извлечены органы брюшной полости, и при этом упоминается вероятность того, что преступник – некое лицо, обладающее «несомненным знанием анатомии». Дело, несмотря на известные подозрения, наводило на мысль о преступлении на почве страсти и как таковое, после шести месяцев безуспешного расследования, отправлено *ad acta*.

Загадочные связи

В конце 1934 года антоновская полиция арестовывает известного Аймике, Э.В. Аймике, по подозрению в поджоге склада фирмы *Дигтярев*. Это событие привело в движение целую цепь загадочных и таинственных связей. Аймике в момент пожара прячется в ближайшей сельской корчме, куда четкие восьмерки кривых следов его велосипеда в густой осенней грязи приводят полицию как по нити Ариадны. Полицейские уводят напуганного Аймике; затем следует фантастическое и неожиданное признание: он был тем, кто сообщал властям о тайных политических собраниях в подвале дома по адресу Ефимовская, 5. Помимо массы путаных и противоречивых причин, которые толкнули его на этот поступок, он упоминает и о своих симпатиях к анархистам. Ему не поверили. Выдержав еще несколько дней в карцере, загнанный в угол перекрестным допросом, Аймике упоминает дело убитой девушки. Это должно было стать ключевым доказательством в его пользу: поскольку у членов ячейки были очевидные причины подозревать, что кто-то их выдает, он должен был пожертвовать кем-то из них. Ханна Кшижевская, вступив-

шая в организацию недавно, была самой подходящей по многим причинам, чтобы объявить ее предателем. При этом он привел детальное описание девушки, место и способ убийства, а также имя исполнителя.¹

Признание

Когда Чехословакия заключила с Советским Союзом пакт о взаимопомощи, и таким образом, по крайней мере, на какое-то время отложила вечно щекотливый вопрос о границах, для полиции обеих стран открылись широкие горизонты сотрудничества. Чешская полиция передала Советам имена нескольких судетских немцев, стопроцентно шпионов Рейха, а Советы в ответ дали ей сведения о некоторых бывших чехословацких гражданах, в основном, не очень важных для советской разведывательной службы, или о тех, кто не мог обосновать свое бегство в Советский Союз внятыми идеологическими причинами. Среди них было и имя известного Миксата Хантеску, по прозвищу Микша. Поскольку чешские власти считали его просто убийцей, и им не составило труда связать дело убитой де-

1 Тайну своего поступка Аймике унес с собой в могилу: ночью, последовавшей за его признанием, он повесился в тюремной камере при весьма необычных обстоятельствах, вызывающих обоснованное подозрение, что он был убит. Некоторые исследователи считают, что Аймике был немецким шпионом и провокатором, который не выдержал испытания; другие же полагают, что он был обычным полицейским осведомителем, которого убрала сама полиция как опасного свидетеля; предположение, которое приводит Гуль, состоит в том, что Аймике потерял голову из-за красавицы-польки, не пожелавшей удостоить его своих милостей, и его также не следует отвергать. – *(Здесь и далее примечания автора, кроме специально оговоренных случаев).*

вушки с исчезновением Хантеску и с заявлением Ай-мике, они потребовали его выдачи. Советские органы только тогда обратили внимание на гражданина М.Л. Хантеши, работавшего в совхозе *Красная свобода*. Он был старательным работником бойни, дважды ударник. Его арестовали в ноябре 1936 года. После девяти месяцев одиночки и ужасных пыток, когда ему выбили почти все зубы и сломали ключицу, Микша потребовал, чтобы к нему привели следователя. Ему дали стул, лист плохой бумаги и карандаш. Ему сказали: «Пиши и не фокусничай!» Микша признался, черным по белому, что чуть больше года назад убил по партийному заданию предателя и провокатора по имени Ханна Кшижевская, но решительно отрицал, что ее изнасиловал. Пока он своим твердым крестьянским почерком писал признание, со стены скромного кабинета следователя за ним наблюдал портрет того, кому надлежало верить. Микша посмотрел на этот портрет, на это добродушное лицо с улыбкой, доброе лицо мудрого старца, так похожего на его дедушку, посмотрел на него с мольбой и благоговением. После месяца голодовки, избиений и пыток это был единственный светлый момент в Микшиной жизни, этот теплый и уютный кабинет следователя, где потрескивала старая русская печь, как когда-то давно в родном доме на Буковине, этот мир, где не слышны крики заключенных и глухие удары, этот портрет, потечески улыбающийся ему со стены. В стремительном порыве веры Микша пишет свое признание: что он был агентом гестапо, что работал на свержение советской власти. Тогда же он назвал еще двенадцать соучастников большого заговора. Вот их имена: И.В. Торбуков,

инженер, И.К. Гольдман, начальник цеха на химическом заводе в Кемерове, А.К. Берлицкий, геодезист, партийный секретарь совхоза, М.В. Корелин, судья областного суда, Ф.М. Ольшевская, председатель колхоза «Красноярск», С.И. Соловьева, историк, Е.В. Квапилова, учительница, М.М. Нехавкин, священник, Д.М. Догаткин, физик, Е.К. Мареску, наборщик, Э.М. Мендель, мастер-закройщик, М.Л. Юсеф, портной.

Все получили по двадцать лет. Тот, кого назвали вождем и организатором заговора, А.К. Берлицкий, расстрелян, под рев работающих тракторных моторов, ранним утром восемнадцатого мая 1938 года, во дворе тюрьмы Бутырка, вместе с двадцатью девятью членами другой группы заговорщиков.

Михаил Хантеску умер от пеллагры в лагере Известково, накануне Нового, 1941 года.

Свиноматка, пожирающая свой приплод

Бориславу Пекичу

Страна вечности

Первый акт трагедии или комедии (в схоластическом смысле этого слова), главным героем которой является известный Гульд Версхойл, начинается, как любая земная трагедия – с рождения. Позитивистская презренная формула среды и расы применима к человеческим существам ровно в той же мере, в какой применима к фламандской живописи. Первый акт этой драмы начинается, стало быть, в Ирландии, *«на самом далеком острове Туле, в стране по ту сторону знания»*, как ее называет двойник Дедалуса, в Ирландии, *«в стране тоски, голода, отчаяния и насилия»*, как ее называет другой исследователь, менее склонный к мифологии, а более к тяжелой земной прозе. Однако и у этого второго, кажется, известная лирическая вычурность не гармонирует с суровостью края: *«Наивысшая ступень заката, Ирландия – это последняя страна, которая наблюдает, как угасает день. Ночь уже над Европой, когда заходящее солнце еще заливают пурпуром фьорды и пустоши западные. Но пусть наползут мрачные облака, пусть упадет звезда, и остров снова становится, как в легенде, тем далеким краем, окутанным туманами и темнотой, что долгое время для морепла-*

вателей означало границу известного мира. А с той стороны провал; мрачное море, в котором когда-то мертвые находили страну вечности. Их черные барки на песчаных отмелях со странными названиями свидетельствуют о временах, когда в путешествиях было что-то от метафизики: они призывают к грёзам без берегов, без возврата».

Эксцентрики

Дублин – это город, культивирующий зверинец эксцентриков, выдающийся во всем западном мире: изысканно разочарованные, агрессивные представители богемы, профессора в рединготах, избыток проституток, известные пьяницы, пророки в лохмотьях, фанатичные революционеры, сумасшедшие националисты, лихие анархисты, вдовы, убранные гребнями и драгоценностями, священники, закутанные в облачение, – весь день-деньской вдоль реки Лиффи дефилирует эта карнавальная процессия. Картина Дублина, созданная Бурникелем, дает нам возможность хотя бы отдаленно представить себе, при недостатке надежных источников, тот опыт, который Гульд Версхойл обязательно увезет с собой с острова, опыт, который проникает в душу, как проникает в легкие душными летними днями ужасная вонь рыбной муки с консервного завода вблизи порта.

В лихорадочном предвосхищении событий мы склонны рассматривать эту карнавальную процессию и как последнюю картину, которую в быстром мелькании увидит наш герой: изысканный зверинец ирланд-

ских эксцентриков (к которым в некотором смысле можно отнести и его), спускающийся вдоль Лиффи, куда-то до якорной стоянки, где исчезает, как в аду.

Черная Заводь

Гульд Версхойл родился в одном из тех дублинских предместий недалеко от порта, где он слышал гудки кораблей, тот пронзительный стон, говорящий правдолюбивому юному сердцу о том, что существуют миры и народы и за пределами *Dubb-Linn-a*, этой черной заводи, где смрад и несправедливость угнетают больше, чем где бы то ни было. Глядя на своего отца, который от продажного таможенника поднялся до еще более убогого (в моральном смысле) чиновника и опустился от горячего последователя Парнелла¹ до подхалима и пуританина, Гульд Версхойл проникся отвращением к своему отечеству, отвращением, которое всего лишь одна из форм извращенного и мазохистского патриотизма. «Треснуло зеркальце у девушки – прислуги “за все”, свиноматка, пожирающая свой приплод» – записывает Версхойл в возрасте девятнадцати лет суровую фразу, которая в большей степени касается Ирландии, а не его родителей.

Утомленный пустыми спорами в мрачных пивных, где составляются фальшивые заговоры, и фальшивыми служителями церкви, поэтами и предателями задумываются политические покушения, Гульд Версхойл

1 Парнелл, Чарльз Стюарт (1846–1891) – ирландский политический деятель, лидер Лиги гомруля, основатель Ирландской парламентской партии. – Прим. перев.

заносит в свою записную книжку фразу, произнесенную каким-то высоким близоруким студентом, не подозревающим, что эти его слова будут иметь трагические последствия: «У кого есть хоть малая толика самолюбия, не может оставаться в Ирландии и оказывается в изгнании, стремясь вон из страны, на которую обрушилась гневная десница какого-то Юпитера».

Эту запись он сделал 19 мая 1935 года.

В августе того же года Гульд Версхойл садится на торговый корабль *Ringsend*, отправляющийся в Марокко. После трехдневной стоянки в Марселе *Ringsend* покидает порт без одного из членов экипажа; точнее, место радиста-телеграфиста Версхойла занимает какой-то новенький. В феврале 1936 года мы обнаруживаем Гульда Версхойла близ Гвадалахары, в пятнадцатой англо-американской бригаде, которая носит имя легендарного Линкольна. Ему двадцать восемь лет.

Выцветшие фотографии

В этот момент надежность документов, пусть они и похожи на палимпсесты, ненадолго дает сбой. Жизнь Гульда Версхойла неявным образом смешивается с жизнью и смертью молодой Испанской Республики. Мы располагаем только двумя снимками; с неизвестным бойцом рядом с развалинами какого-то святилища. На обороте написано рукой Версхойла: "*Alcázar. Viva la República!*" Его высокий лоб наполовину скрыт под баскским беретом, на губах подрагивает улыбка, в которой можно прочесть (с дистанции во времени) триумф победителей и горечь побежденных: противоречивые

отблески, как морщина на лбу, отбрасывают тень верной смерти. Групповая фотография с датой 5 ноября 1936 года. Снимок очень нечеткий. Версхойл во втором ряду, все еще в надвинутом на лоб баскском берете. Перед построившимся отрядом какое-то перекопанное пространство, и нетрудно поверить, что мы находимся на кладбище. Это рота почетного караула, стреляющая в небо салютом, или в живую плоть? Лицо Гульда Версхойла ревниво охраняет эту тайну. Над строем бойцов в далекой синеве парит аэроплан, как распятие.

Осторожные догадки

Я вижу Версхойла, как он отступает из Малаги, пешком, в кожаном пальто, снятом с мертвого фалангиста (под пальто было только голое худое тело и серебряный крест на кожаном шнурке); я вижу, как он идет в штыковую атаку, несомый своим собственным кличем, как крыльями ангела истребления; я вижу его, как он перекрикивается с анархистами, водрузившими свое черное знамя на голых склонах близ Гвадалахары, готовых умереть какой-то возвышенной и бессмысленной смертью; я вижу его, как он слушает, под жарким небом, где-то у какого-то кладбища недалеко от Бильбао, какие-то лекции, в которых, как при сотворении мира, отделяются друг от друга смерть и жизнь, небо и земля, свобода и тирания; я вижу его, как он опустошает полную обойму, стреляя в воздух по самолетам, обессилев, а потом сразу падает под огнем, засыпанный землей и шрапнелью; я вижу его, как он трясет мертвое тело студента Армана Жоффо, умершего у него на руках,

где-то близ Сантандера; я вижу его, как он с грязной повязкой на голове лежит в полевом госпитале в районе Хихона, слушая бред раненых, один из которых взывает к Богу на ирландском; я вижу его, как он разговаривает с какой-то молодой медсестрой, которая его усаживает как ребенка и поет ему песню на каком-то неизвестном ему языке, а потом в полусне, опьяненный морфием, видит, как она забирается в постель какого-то поляка с ампутированной ногой, и сразу же, как в кошмаре, слышит ее болезненный любовный лепет; я вижу его где-то в Каталонии, как он сидит в полевом штабе батальона у аппарата Морзе и повторяет отчаянные призывы о помощи, а радио с ближайшего кладбища передает бодрые и самоубийственные песни анархистов; я вижу его, как он страдает от конъюнктивита и диареи; и я вижу его, как он, обнаженный до пояса, бреется у колодца с отравленной водой.

Интермедия

В конце мая 1937-го, где-то в предместье Барселоны Версхойл просится на доклад к командиру батальона. Командир, которому едва за сорок, похож на крепкого старика. Склонившись над письменным столом, он ставит свою подпись на смертных приговорах. Его заместитель, застегнутый до горла и в глянцевых охотничьих сапогах, стоит рядом с ним и к каждой подписи прикладывает промокательную бумагу. В комнате душно. Командир утирает лицо батистовым платком. Вдали слышны ритмичные разрывы снарядов крупного калибра. Командир рукой подает Версхойлу знак гово-

рять. «Зашифрованные сообщения попадают в неподобающие руки», – говорит Версхойлс. «В чьи?» – спрашивает командир, слегка отсутствующе. Ирландец колеблется, с подозрением поглядывая на заместителя командира. Тогда командир переходит на лексикон Вердена: «Скажи, сынок, в чьи руки». Ирландец, мгновение помолчав, наклоняется через стол и шепчет ему что-то на ухо. Командир встает, подходит к Версхойлу, провожает его до дверей и похлопывает по плечу, как похлопывают новобранцев и мечтателей. Это все.

Приглашение в путешествие

Кошмарную ночь с тридцать первого мая на первое июня (1937) Версхойл проводит у аппарата Морзе, рассылая строгие сообщения на передовые позиции у холмов Альмерии. Ночь душная и освещена ракетами, которые придают местности вид нереальной. Незадолго до рассвета Версхойл передает аппарат Морзе какому-то молодому баску. Ирландец уходит в лес, на десяток шагов от рации, и, изнуренный, ложится во влажную траву, ничком.

Его будит курьер из штаба. Версхойл сначала смотрит в небо, потом на свои часы: он проспал минут сорок. Курьер передает ему приказ, тоном, несообразным с его званием: в порту находится судно, на котором не работает рация; произвести ремонт; после выполнения приказа доложить помощнику командира; *Viva la República!* Версхойл спешит в палатку, берет кожаную сумку с инструментом и идет с курьером в порт. На дверях таможни ночью кто-то написал белой, все еще

стекающей краской лозунг: VIVA LA MUERTE. В открытом море, далеко от дока, сквозь утреннюю дымку проглядывает силуэт какого-то корабля. Курьер и матросы в лодке у мола обмениваются ненужными паролями. Версхойл садится в лодку, не обернувшись в сторону берега.

Окованные двери

Вокруг плавают обгоревшие доски, наверное, остатки какого-то корабля, которого ночью торпедировали недалеко от берега. Версхойл смотрит на пепельное море, и это, наверное, напоминает ему презренную и презрения заслуживающую Ирландию. (Мы не можем поверить, что в этом презрении нет ни капли ностальгии). Его спутники молчат, занятые своими тяжелыми веслами. Они быстро оказываются вблизи судна, и Версхойл замечает, что за ними наблюдают с верхней палубы: рулевой передает бинокль капитану.

Вот некоторые технические подробности, может быть, и не важные для дальнейшего хода рассказа: это старый деревянный пароход, водоизмещением примерно пятьсот тонн, и официально он идет с грузом антрацита во французский порт Руан. Медные детали – поручни, винты, дверные ручки, рамы иллюминаторов – почти зеленые от патины, а корабельный флаг, покрытый угольной пылью, идентифицируется с трудом.

Когда Версхойл взошел на борт по скользкому веревочному трапу, в сопровождении двух матросов (один из них взял у него из рук кожаную сумку, чтобы гостю было легче подниматься), на палубе уже никого

не было. Те два матроса отвели его в некое помещение в трюме. Помещение пустое, а двери окованы той же самой тусклой бронзой. Версхойл слышит, как в замке поворачивается ключ. В тот же момент он понимает, что судно отчаливает, а также понимает, скорее в гневе, а не в ужасе, что он попал в западню, как какой-нибудь наивный молокосос.

Путешествие продолжалось восемь дней. Эти восемь дней и ночей Версхойл провел в трюме, в тесной каюте рядом с машинным отделением, где оглушающий шум двигателей перемалывал, как жерновами, течение его мыслей и его сна. Каким-то странным образом примирившись с судьбой (но только внешне, мы это увидим), он не бил кулаком в дверь, не звал на помощь. Похоже, он даже не задумывался о побеге, впрочем, бессмысленном. По утрам он умывался над железной раковиной без зеркала, смотрел на пищу, которую три раза в день ему подавали через круглое окошко на окованной двери (селедка, лосось, черный хлеб), потом, не прикасаясь ни к чему, кроме воды, он снова ложился на жесткую матросскую койку без постельного белья. Смотрел на однообразное волнение моря сквозь иллюминатор каюты.

На третий день Версхойл просыпается от кошмарного сна: на узкой скамье напротив его койки сидят два человека и молча за ним наблюдают. Версхойл резко встает.

Попутчики

Голубоглазые, со здоровыми белыми зубами, попутчики дружески улыбаются Версхойлу. С какой-то неестественной (неестественной для времени и места) учтивостью и они быстро встают и называют свои имена с легким кивком головы. Версхойл, который также представляется, слоги его собственного имени вдруг кажутся совершенно незнакомыми и чужими.

Следующие пять дней три человека проводят в тесной раскаленной каюте за окованными дверьми в страшной азартной игре, похожей на покер втроем, в которой проигрыш оплачивается жизнью. Прерывая дискуссию только для того, чтобы быстро съесть кусок вяленой селедки (на четвертый день путешествия Версхойл начал есть) или освежить пересохшие рты и отдохнуть от собственного перекрикивания друг друга (и тогда непереносимый шум машин становился только подобием тишины), три человека разговаривали о справедливости, о свободе, о пролетариате, о целях революции, с пеной у рта отстаивая свои убеждения, как будто намеренно избрав это полутемное помещение судна, находящегося в международных водах, как единственно возможную и нейтральную территорию для страшной игры аргументов, страстей, убеждений и фанатизма. Небритые и потные, с засученными рукавами и изможденные, они прервали дискуссию только один раз: когда на пятый день путешествия два посетителя (о которых нам известно, кроме их имен, только то, что им было примерно по двадцать лет, и что они не были членами экипажа корабля) оставили Версхойла

на несколько часов одного. В это время ирландец сквозь оглушающий шум машин слышал, как с палубы доносятся звуки какого-то фокстрота, который кажется ему знакомым. Незадолго до полуночи музыка вдруг замирает, и посетители возвращаются, навеселе. Они сообщают Версхойлу, что на судне праздник: после полуженения каблогранмы, которую радист принял во второй половине того же дня, судно *Витебск* переименовали в *Орджоникидзе*. Угощают его водкой. Он отказывается, боясь что отравят. Парни это понимают и выпивают водку, смеясь над подозрительностью ирландца.

Внезапное и неожиданное прекращение шума машин резко прерывает разговор в каюте, как будто этот обычный ритм был ритуальным сопровождением, придававшим силу и размах их мыслям и аргументам. Теперь они молчали, совсем онемев, и прислушивались к плеску волн, ударявшихся о корпус судна, к топоту шагов по палубе и долгому скольжению тяжелых цепей. Уже минула полночь, когда отперли двери каюты, и когда три человека покинули свое место пребывания, полное окурков и рыбьих костей.

Наручники

Витебск-Орджоникидзе бросил якорь в открытом море, в девяти милях от Ленинграда. Вскоре от снопа далеких огней на берегу один начинает отделяться, а ветер приносит предшествующий катеру, приближающегося к кораблю, шум мощных моторов. Три человека в форме, один в звании капитана и двое без знаков различия, подходят к Версхойлу и нацеливают на него

свои револьверы. Версхойл поднимает руки. Они его обыскивают, затем завязывают вокруг пояса веревку. Версхойл послушно спускается по веревочному трапу и занимает место в моторном катере, где его приковывают наручниками к медной спинке сиденья. Он смотрел на призрачный силуэт корабля, освещенного снопом света прожектора. Он видел, как по веревочному трапу спускают, связанными вокруг пояса, и обоих его попутчиков. Вскоре все трое сидят рядом друг с другом, прикованные наручниками к стойке сиденья.

Справедливый приговор

Так или иначе, истинный исход той битвы слов и аргументов, которую вели на протяжении шести дней ирландец Гульд Версхойл и два его попутчика, останется тайной для исследователей современных идей. Как останется тайной, весьма интересной психологически и юридически, возможно ли, чтобы человек, под давлением страха и отчаяния, был в состоянии отточить силу своих аргументов и своего опыта настолько, чтобы без принуждения извне, без применения силы или пыток, поколебать в сознании двух других человек все то, что в них вбивалось в течение долгих лет, воспитанием, чтением, привычкой и дрессурой. Может быть, поэтому и не следует считать совершенно произвольным решение судейской коллегии, которая, по соображениям некой высшей справедливости, вынесла строгий приговор (восемь лет тюрьмы) каждому из трех участников долгой игры убеждения. Потому что, даже если мы и поверим, что тем двоим (Вячеслав Измайлович

Жамойда и Константин Михайлович Шадров, так их звали) удалось в тяжелой и изнурительной идеологической полемике поколебать известные сомнения, появлявшиеся в голове республиканца Верскойла (сомнения, которые могли иметь далеко идущие последствия), имелось еще и совершенно оправданное опасение, что и они сами при этом подверглись губительному влиянию известных контраргументов: из немилосердной битвы равноправных противников, как из кровавого пестушиного боя, никто не выходит без травм, невзирая на то, кому достанется суетная слава победителя.¹

Финал

Следы тех двоих, что сопровождали Верскойла, теряются в Мурманске, на побережье Баренцева моря, где одно время, страшной зимой 1942-го, они лежали в одном отделении лагерной больницы, полуслепые и изнуренные цингой: у них выпали зубы, и были они похожи на стариков.

Гульд Верскойл был убит в 1945-м, в Караганде, после неудачной попытки побега. Его замерзший голый труп, связанный проволокой, вниз головой, был выстав-

1 На следствии Верскойл будет упорно отрицать, что в тот роковой день, докладывая, он шепнул командиру батальона, что шифрованные сообщения попадают в Москву; он тогда еще не мог знать, что на столе следователя лежал отчет заместителя командира, в котором слова Верскойла, содержавшие опасное и кощунственное подозрение, «что советская тайная полиция пытается занять командные позиции в Республиканской армии», были приведены дословно. Одна короткая встреча с самим заместителем командира – Челюстниковым – на транзитной станции в Караганде, откроет ему эту тайну: командир сообщил своему заместителю конфиденциальную информацию Верскойла так, как будто речь шла о хорошем анекдоте.

лен на обозрение перед воротами лагеря, в назидание тем, кто мечтал о невозможном.

Post scriptum

В мемориальной книге под названием *Ireland to Spain*, изданной Дублинской федерацией ветеранов, имя Гульда Версхойла ошибочно включено в список примерно ста ирландских интербригадовцев, павших в битве при Брунете. Так Версхойл снискал дурную славу, когда его объявили мертвым примерно за восемь лет до его реальной смерти. Известная битва при Брунете, в которой храбро сражался батальон имени Линкольна, произошла в ночь с восьмого на девятое июля 1937 года.

Механические львы

Hommage à André Gide

Человечище

Единственный исторический персонаж в этом рассказе, Эдуар Эррио, лидер партии французских радикалов, председатель комиссии по иностранным делам, мэр Лиона, депутат парламента, музыковед и т.д., займет здесь, возможно, недостаточно значительное место. Не потому, мы скажем об этом сразу, что он менее важен для течения самого рассказа, по сравнению с другой личностью, которая здесь появляется, не исторической, но и не менее реальной, а потому что просто об исторических личностях имеются и другие документы. Не будем забывать: Эдуар Эррио и сам был писателем и мемуаристом¹, выдающимся политиком, биографию которого можно найти в любой мало-мальски приличной энциклопедии.

Одно из свидетельств дает такое описание Эррио: «Крупный, сильный, широкоплечий, голова угловатая, покрытая густыми жесткими волосами, с лицом, как будто вытесанным большим садовым ножом и рассеченным короткими густыми усами, этот человек оставлял впечатление большой силы. Его голос, прекрасный сам

1 *Mme Récamier et ses amis; La Russie nouvelle; Pourquoi je suis radical-socialiste; Lyon n'est plus; Forêt normande; Jadis; Souvenirs; Vie de Beethoven etc.*

по себе, приспособлен к тончайшим нюансам и модулированным акцентам, легко доминировал над любым шумом. Он умел им мастерски владеть, как мастерски умел владеть и выражением своего лица». То же свидетельство дает следующее описание его характера: «Это был настоящий спектакль – наблюдать, как он, стоя на трибуне, переходит с серьезного на шуточный тон, от доверительного тона к чеканному провозглашению какого-нибудь принципа. А если появляется кто-то, кто ему возражает, он принимает этот маленький вызов, и пока тот, другой, обосновывает свою позицию, по лицу Эдуара Эррио разливается широкая улыбка – ранний признак сокрушительного замечания, которое, едва прозвучав, вызывает бурю аплодисментов и смех, к смущению собеседника, попавшегося в западню. Правда, эта улыбка исчезала, если критика высказывалась оскорбительным тоном. Такие атаки приводили его в бешенство и вызывали у него жестокую реакцию, и, тем более, что он всегда был настороже, – уязвимость, которую многие считали тщеславием»¹.

Тот второй

О втором важном персонаже этого рассказа, А.Л. Челюстникове, нам достоверно известно только то, что ему было около сорока лет, он был высокого роста, немного сутулился, со светлыми волосами, что он был болтлив, хвастлив и любитель женщин, и незадолго до описываемых событий был редактором украинской га-

1 André Ballit, Le Monde от 28 марта 1957 г.

зеты *Новая заря*. Он был отличным игроком в покер и «очко», и умел играть на гармошке польки и частушки. Прочие свидетельства о нем настолько противоречивы, что, может быть, поэтому и неважны. Но я их фиксирую, хотя некоторые источники вызывают оправданные сомнения: что он был политическим комиссаром на гражданской войне в Испании, и что проявил героизм, сражаясь в составе кавалерийского полка под Барселоной; что однажды ночью занимался любовью с двумя санитарками, при этом с высокой малярийной температурой; что какого-то ирландца, заподозренного в саботаже, обманом доставил на советское грузовое судно *Орджоникидзе*, под предлогом, что надо отремонтировать радиопередатчик; что (к тому же) был лично знаком с Орджоникидзе; что три года был любовником жены одного очень-очень известного человека (и что именно поэтому попал в лагерь); что в школьной любительской труппе в Воронеже играл Аркадия и пьесе Островского *Лес*.

В случае, если приведенные свидетельства вызывают известные подозрения и представляются ненадежными, особенно вот тот, последний, один из рассказов Челюстникова, тот, который касается Эррио, как бы он ни казался на первый взгляд плодом фантазии, стоит его записать. Что я здесь и делаю, собственно, потому что в его достоверности можно усомниться с трудом; наконец, все свидетельствует в пользу того, что некоторые истории Челюстникова, сколь бы необычными они не были, все-таки основаны на реальных событиях. А в качестве самого надежного доказательства нам может послужить тот факт, что ниже изложенный рассказ из-

вестным образом подтвердил сам Эдуар Эррио, блестящий ум (“une intelligence rayonnante”), как справедливо заметил о нем Даладье. Стало быть, я расскажу о той давней встрече Челюстникова и Эррио так, как знаю и умею, безотлагательно освободившись от страшного кошмара документов, которые загромождают сюжет, а сомневающегося и любопытного читателя я отсылаю к приведенной библиографии, где он найдет необходимые доказательства. (Может быть, мне было бы разумнее выбрать какую-то иную форму повествования, эссе или очерк, где я мог бы все эти документы использовать традиционным способом. Но в этом мне препятствуют два момента: во-первых, неуместность приведения живых устных свидетельств в качестве документов, а во-вторых, я не мог отказать себе в удовольствии повествовать, дарящем писателю иллюзорную идею, что он создает мир, и, следовательно, как говорится, его изменяет).

Телефон и револьвер

Той холодной ноябрьской ночью тысяча девятьсот тридцать четвертого года Челюстников, внештатный корреспондент местной газеты, в чьи обязанности входило освещать вопросы культуры и борьбы с религией, спал голый, как младенец, на большой дворянской кровати в теплой комнате на четвертом этаже дома по улице Егоровка. Его глянцевого сапоги малинового цвета были аккуратно прислонены к кровати, а его одежда и белье разбросаны по всей комнате в беспорядке (признак торопливой страсти), смешавшись с шелковым

женским. В комнате чувствовался теплый запах пота, водки и одеколона.

Челюстникову снилось (если ему верить), что он должен выйти на сцену и сыграть какую-то роль, скорее всего, Аркадия из *Леса*, но никак и нигде не может найти свою одежду. Ужасаясь (во сне), он слышит звонок, которым его вызывают на сцену, но стоит на месте, окаменев, то есть, сидит, голый и волосатый, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Вдруг, как будто все это происходит на сцене, занавес поднят, сквозь сияющий свет боковых софитов, которые держат его под перекрестным огнем своих снопов; он замечает зрителей, наверху, на балконе, и внизу, в партере, их головы увенчаны фиолетовым ореолом. Ему кажется, что в первом ряду он узнает членов Краевого комитета, а среди них четко различает и светлую плешь товарища М., главного редактора *Новой зари*, который заходится от смеха и что-то выкрикивает ему издевательское и оскорбительное, что-то по поводу его (Челюстникова) мужского достоинства. А звонок из гримерки все равно звонит, все упорнее и все громче, и Челюстникову кажется (во сне), что это на самом деле пожарная сирена, что, наверное, загорелся занавес, и что сейчас начнется общая давка и паника, а он здесь, на сцене, голый, как младенец, и неподвижный, оставленный на милость пламени. Правая его рука быстро высвобождается из зачарованности, и на границе между сном и бодрствованием он рефлекторно протягивает ее к револьверу, по старой доброй привычке положенному под подушку. Челюстников включает свет на ночном столике и при этом опрокидывает рюмку с водкой. Мгновенно

понимает, что сейчас сапоги для него важнее нагана, быстро запрыгивает в них, как в седло. Жена главного редактора *Новой зари* шевелится во сне, потом, тоже разбуженная звонком, открывает свои красивые, слегка припухшие азиатские глаза. Телефон вдруг замолкает, и они переводят дух. Затем мучительные переговоры, полушепотом. Настасья Федотьевна М., растерянная и испуганная, пытается натянуть лифчик, который ей кинул из кучи одежды Челюстников. Тут телефон опять начинает звонить. «Вставай», – говорит Челюстников, запихивая револьвер за пояс. Настасья Федотьевна смотрит на него с ужасом. Тогда Челюстников подходит к испуганной женщине, целует ее меж буйных грудей и говорит ей: «Сними трубку». Женщина встает, Челюстников закутывает ее в свое кожаное пальто, по кавалерски. Сразу же после этого слышен голос женщины: «Кого? Челюстникова?» (Мужчина подносит палец ко рту). «Не имею понятия». (Пауза). Потом женщина кладет трубку, из которой слышны короткие гудки, и падает в кресло. «Из Райкома». (Пауза). «Говорят, что срочно».

Папка

Прежде чем вернуться в свою холодную квартиру на Соколовском проспекте, Челюстников долго болтается по занесенным снегом улицам. Он идет кружным путем, вдоль Днепра, поэтому ему потребовался целый час, чтобы добраться домой. Он снимает кожаное пальто, наливает рюмку водки и включает радио. Не проходит и пяти минут, как звонит телефон. Челюстников

снимает трубку после третьего звонка. На мгновение изображает изумление по поводу того, что звонят так поздно (третий час ночи), а потом говорит, что раз дело такое срочное, он будет через полчаса. Сейчас оденется, а то только что разделся. Ладно, отвечают ему, за ним придет машина, дело срочное. Товарищ Пясников все ему объяснит устно.

Товарищ Пясников, секретарь Райкома, переходит к делу без околичностей: завтра около одиннадцати утра в Киев прибывает гражданин Эдуар Эррио, вождь французских рабочих. Челюстников говорит, что читал в газетах о его прибытии в Москву, но не знал, что он посетит и Киев. Тогда Пясников спрашивает, знает ли он, Челюстников, как важен визит такого человека. Тот отвечает, что знает (хотя ему не было так уж ясно, в чем значение этого визита, и какова его роль во всем этом). Как будто уловив, что Челюстников не в курсе дела, Пясников начинает ему объяснять: гражданин Эррио, несмотря на свои симпатии, подвержен известным, типично буржуазным сомнениям относительно завоеваний революции. Он привел многие детали жизни и деятельности Эдуара Эррио, особо отметив его мелкобуржуазное происхождение, процитировал многие его высказывания, упомянул его любовь к классической музыке и к прогрессивным движениям в мире, и подчеркнул роль, которую тот сыграл в признании Францией страны большевиков (так и сказал: *страны большевиков*). Наконец, Пятников достает из ящика письменного стола некую папку и начинает ее листать. «Вот, – говорит он, – например, это. Цитирую: *Невозможно даже и нерелигиозному французу (как ви-*

дите, Эррио освободился от религиозных предрассудков, ...если ему можно верить), *даже и нерелигиозному французу не возвысить голос против преследований священнослужителей*; (товарищ Пясников тут опять останавливается и поднимает взгляд на Челюстникова: «Понимаете?». Челюстников кивает головой, а Пясников добавляет: «Для них попы по-прежнему какие-то священные коровы, как у наших мужиков... тогдашних, разумеется»), *потому что и это является атакой на свободу мнений. Атакой, впрочем, совершенно ненужной...* И, так далее, и так далее», – говорит Пясников и закрывает папку. «Думаю, вам теперь все ясно?» – «Да», – говорит Челюстников и наливает себе стакан воды. Он задерживается в кабинете товарища Пясникова до четырех утра. А уже в семь он опять на ногах. До прихода поезда ему остается ровно четыре часа.

Часы и минуты

То важное утро в жизни А.Л. Челюстникова проходило, час за часом, вот так: в семь побудка, по телефону. Челюстников выпивает натошак стакан водки, умывается холодной водой, голый до пояса. Одевается, чистит до блеска сапоги. На завтрак жарит яичницу на примусе, ест ее с солеными огурцами. В семь двадцать звонит в Райком. Товарищ Пясников говорит, жуя и извиняясь: он оставался в кабинете всю ночь, немного подремал в кресле, за столом; спрашивает Челюстникова, хорошо ли он себя чувствует; говорит, что назначил ему встречу с Аврамом Романичем, гримером, в фойе театра (служебный вход) на четыре часа дня; не опаздывать.

В семь двадцать пять он звонит Настасье Федотьевне. После долгой паузы (снизу уже сигналиит машина, посланная из Райкома) слышен встревоженный голос жены главного редактора *Новой зари*. Она никак не может понять, как они могли искать Челюстникова минувшей ночью у нее. Она в отчаянии. Если М. (то есть, ее муж) узнает, то она отравится. Она не вынесет этого позора. Да, да, отравится мышьяком. Челюстникову с трудом удастся вставить слово-другое утешения в бурный поток ее слов, сюсюканья, всхлипов и шепота: ей не надо ни о чем беспокоиться, все это случайность, он ей все объяснит, а теперь ему надо срочно идти, его внизу ждет машина. А о мышьяке чтобы не смела и думать... В семь тридцать он садится в черный автомобиль, который ждет его у дома; примерно без четверти восемь приезжает в Райком. У товарища Пясникова глаза припухли и покраснели; они выпивают по рюмке водки, потом ведут переговоры и звонят по телефону с восьми до девяти тридцати, из двух разных кабинетов, чтобы не мешать друг другу. В девять тридцать товарищ Пясников, с глазами, как у кролика, нажимает на одну из кнопок на большом письменном столе орехового дерева, и техничка приносит чай на подносе. Долго прихлебывают обжигающий чай, молча, улыбаясь друг другу, как люди, которые сделали тяжелую и ответственную работу. В десять часов едут на вокзал и проверяют охрану. Товарищ Пясников требует, чтобы сняли транспарант с текстом *Религия – опиум для народа* и на скорую руку заменили другим, с легким метафизическим оттенком: *Да здравствует солнце, долой ночь*. Ровно в одиннадцать, когда поезд с высоким гостем подхо-

дит к перрону, Челюстников отделяется от комитета по встрече и становится немного в стороне, с офицерами охраны, которые, в гражданском и с чемоданами, изображают случайных и любопытствующих пассажиров, которые спонтанными аплодисментами встречают дружественного гостя из Франции. Мельком глянув на Эррио (он показался ему каким-то незначительным, наверное, из-за беретки), Челюстников выходит через боковой подъезд и быстро уезжает на машине.

Когда он подъехал к Софийскому собору, было ровно двенадцать.

Прошлое

Собор Святой Софии построен как смутное воспоминание о славных днях Владимира, Ярослава и Изяслава. Он всего лишь отдаленная копия корсунского монастыря, названного так в честь «святого града» Херсонеса или Корсуня. Хроника ученого монаха Нестора фиксирует, что уже князь Владимир привез из Корсуня, города своего крещения, иконы и капища церковные, как и «четырех бронзовых коней»¹. Но между тем первым закладным камнем церкви, что заложил Блаженный Владимир, и историей Святой Софии протечет еще много воды, прольется кровь и проплывут трупы славным Днепром. Древние славянские божества еще долго будут сопротивляться достославному капризу

1 «Четыре кони медяны». Вообще-то, как утверждают некоторые специалисты, это следовало бы читать как *«четыре иконы медяны»*. Мы в этой лексической двойственности видим, прежде всего, пример столкновения и взаимопроникновения двух видов идолопоклонничества: языческого и христианского.

киевского князя, который принимает монотеистическую христианскую веру, а языческий русский народ будет с языческой жестокостью бороться против «сынов Дажьбога» и еще долго будет пускать свои убийственные стрелы и копья по ветрам, «Стрибожьим внукам». Однако жестокость истинно верующих не менее жестока, чем языческая жестокость, а фанатизм верующих в тиранию одного бога намного жестче и эффективнее.

В славном Киеве, матери городов русских, в начале XI века будет около четырех сотен церквей, и по свидетельству Титмара из Мерзенбурга, он станет «соперником Константинополя и красивейшей жемчужиной Византии». И вот так, заручившись расположением Византийской империи и склонившись к ее вере, Русь, посредством православия, вступит в круг древней и утонченной цивилизации, но из-за своей схизмы и отречения от римской власти будет оставлена на милость и немилость монгольских завоевателей и не сможет рассчитывать на защиту Европы. Эта схизма приведет и к изоляции русского православия от Запада; церкви будут строиться на поте и костях мужиков, им останется неизвестен высокий полет готических башен, а в области чувств дух рыцарства Руси не коснется, и «они будут лупить своих жен так, как будто культ прекрасной дамы никогда не существовал».

Все это более или менее начертано на стенах и фресках киевского Софийского собора. Прочее – всего лишь менее значимые исторические факты: построил его Ярослав Сильный (1037), на вечную память о дне, когда он одержал победу над язычниками-печенегами. А чтобы мать всех городов русских, Киев, не завидо-

вал Константинополю, он повелел возвести у портала церкви изумительной красоты Золотые ворота. Слава та была недолгой. Монгольские орды, налетев из степи (1240), сравняли славный град Киев с землей. Но Святая София уже была в руинах: в 1240 обрушились ее своды, тогда же, когда обрушились и своды церкви, названной Десятинная, поубивав сотни киевлян, укрывшихся под ними от резни, уготовленной для них монголами. В своем *Описании Украины*, опубликованном в Руане в 1651 г., барон де Боплан, нормандский дворянин на службе польского короля, делает запись, похожую на эпитафию: «Из всех киевских церквей остались только две на память будущим поколениям, а остальные — лишь печальные руины: *reliquiae reliquiarum*».

Самая известная мозаика этой церкви, *Богородица Благодатная*, киевлянами почиталась под названием «нерушимая стена», — отдаленная аллюзия на двенадцатый стих акафиста. Однако легенда трактует это название иначе: когда церковь разрушилась, пали все стены, кроме апсиды, которая осталась неповрежденной благодаря Деве-Матроне на мозаике.

Цирк во храме Божиим

Как бы на первый взгляд ни казалось, что это отклоняется от основного сюжета нашего повествования (впрочем, мы увидим, что это отклонение, действительно, только кажущееся), но мы не можем не упомянуть именно здесь те странноватые фрески, которые украшают стены винтовой лестницы, ведущей на хоры, находясь на которых, князья и бояре, их гости, могли

присутствовать на богослужении, не выходя из дворца. Эти фрески были обнаружены под свежим слоем в 1843 г., но из-за спешки и любопытства, матери открытий и прегрешений, реставрация была выполнена крайне небрежно: к древней патине, к блеску золота и одеяний был добавлен нуворишеский блеск богатства и боярской роскоши. Но, тем не менее, сцены остались нетронутыми: под синим небесным сводом Византии ипподром и цирк, а на первом плане, в почетной ложе, император и императрица, окруженные своей свитой; конюхи ждут за барьером, чтобы выпустить гарцующих арабских скакунов на арену; воины с твердыми лицами, вооруженные копьями, сопровождаемые сворами охотничьих псов, выгоняют диких зверей; борцы и актеры демонстрируют свое искусство на сцене под открытым небом; мускулистый атлет держит в руках длинный канат, по которому ловко, как обезьяна, поднимается акробат; гладиатор, вооруженный топором, устремляется на укротителя с медвежьей головой.

Книга Константина VII Багрянородного (Порфиrogenета) «О церемониях византийского двора» раскрывает нам в главе под названием *Готские игры* смысл этой последней сцены: «Развлечения, известные под названием *Ludus gothicus*, проходят, по Воле Его Императорского Величества, в каждый восьмой день после праздника рождения, и тогда гости Его И. Величества переодеваются готами, водружая на себя маски и головы разных диких зверей».

Вот ровно столько о прошлом.

Пивоваренный завод

Теперь киевский Софийский собор под своими высокими сводами скрывает часть пивоваренного завода *Спартак*, сушильный цех и склад. Огромные двадцатитонные цистерны, на подставках из балок, стоят вдоль стен, а тяжелые железные бочки рассредоточены везде между колоннами, вплоть до апсиды. Сушильный цех трехэтажный, с деревянными решетками от окон до аркад. (Постоянная температура 11° Цельсия исключительно благоприятна для развития полезных бактерий, придающих пиву специфический аромат). Через одно из выставленных окон проходят алюминиевые трубы, изогнутые как дымоходы, и соединяют сушильный цех с флотацией, которая размещается в большом одноэтажном бараке в каких-нибудь ста метрах от церкви. Леса и приставные лестницы соединяют решетки, трубы и цистерны, а кисловатый запах хмеля и солода приносит в древние стены аромат бескрайних степей после дождя. Фрески и алтарь закрыты (на основании недавнего декрета) длинными джутовыми кулисами, которые спускаются вдоль стен, как серые знамена. На месте, где когда-то стояла (точнее сказать, где и сейчас стоит, под серым покрывалом) Пресвятая Дева, «изумленная внезапным появлением Архангела», теперь висит портрет Отца Народов: работа профессионального художника Соколова, заслуженного деятеля искусств. Через метель из толпы пробивается старушка и пытается поцеловать руку Благословенному, как-то по-крестьянски, по-простонародному. Он улыбается старушке и кладет ей руку на плечо, по-отечески. Солдаты, рабочие и дети

с удивлением наблюдают эту сцену. Под портретом, на той же стене, где между полотнищами джута угадывается мутный свет из двух окон – стенгазеты и графики. Челюстников, с похмелья и одурманенный хмельным запахом, изучает график производства так, как будто в лихорадке изучает собственный температурный лист.

Повторная реставрация

И.В. Брагинский, «участник революции, крестьянский сын, большевик», главный инженер цеха, снимает кепку, чешет голову, вертит в руках бумагу и читает ее, наверное, в третий раз, не произнося ни слова. Челюстников в это время рассматривает церковь изнутри, поднимает голову к высоким сводам, заглядывает за лестницы, прикидывает в уме вес котлов и цистерн, подсчитывает, шевеля сухими губами. Эти высокие расписные своды напоминают ему маленькую деревянную церковь в его родной деревне, когда он давно со своими родителями ходил на службы и слушал бормотание попов и пение паствы: воспоминание далекое и нереальное, замершее в нем, в новом человеке с новыми взглядами на жизнь. О том, что потом происходило в тот день в киевском Софийском соборе, у нас есть свидетельство самого Челюстникова: «Иван Васильевич, участник революции, крестьянский сын, большевик, потратил на бесполезные домыслы и уговоры два часа нашего драгоценного времени. Считая, что выполнение месячной нормы производства пива важнее церковных таинств, смял приказ Райкома и бросил мне в лицо. Невзирая на осознание того, что время неминуемо уходит, я попы-

тался его образумить и объяснить ему, что все заинтересованы в том, чтобы подготовить церковь к богослужению. Наконец, обессиленный его упрямством, я отвел его в кабинет и наедине доверил тайну, не упоминая имени гостя. Ни этот аргумент его не удовлетворил, а также и несколько телефонных разговоров с руководством, которые я провел с телефона полевой связи из его кабинета. Наконец, я был вынужден использовать последний аргумент: наставил на него свой наган. (...) Сто двадцать заключенных, которых доставили из ближайшего областного лагеря, под моим личным руководством произвели повторную реставрацию церкви в течение неполных четырех часов. Часть оборудования сушильного цеха мы прислонили к стене и замуфлировали джутовыми покрывалами и полотнищами палаток, перекинутыми через леса, как будто действительно ведутся реставрационные работы восточной стены. Бочки и цистерны вынесли наружу и откатали во двор барака на бревнах (только людской силой и без какой-либо техники), туда, где находилась флотация... Без пятнадцати минут четыре я сел в машину и в точно назначенное время находился в фойе театра, где меня уже ждал Аврам Романич».

Борода и камилавка

Приводим и далее свидетельство Челюстникова: «Товарищ Пясников ему (то есть, Авраму Романичу) все объяснил и даже, как он мне позже сказал, дал на подпись заявление, в котором тот обязуется молчать обо всем, как о государственной тайне. Это очевидно возымело

действие: руки у Аврама Романича тряслись, когда он прилаживал мне бороду. Ризу с лиловым поясом и камилавку мы одолжили с возвратом в костюмерной театра, а в письме их начальству указали, что эти вещи нам необходимы для членов агитбригады, которая готовится давать представления антирелигиозного содержания по деревням и рабочим коллективам. Аврам Романич, стало быть, больше не задавал вопросов и полностью погрузился в работу; вскоре у него даже перестали трястись руки. Что и говорить, человек знал свое дело! Он не только сотворил из меня самого настоящего протоиерея, но даже по собственной инициативе приделал фальшивый живот. «Вы когда-нибудь видели, – сказал он, – вы когда-нибудь видели, гражданин Челюстников, худого протоиерея?» – с чем я согласился. И, несмотря на все, что с ним позже случилось (о чем я не имею намерения здесь говорить), я утверждаю, что заслуга Аврама Романича в том, что дело удалось, не меньше, чем моя: он дал мне несколько ценных советов, которые имели для меня огромное значение, несмотря на мой известный сценический опыт. «Гражданин Челюстников, – сказал он мне, позабыв о страхе, вдохновленный своей работой, – ни на секунду не забывайте, что бороду, особенно такую бороду, носят не головой, а бюстом, верхней частью корпуса. Поэтому вам надо прямо сейчас, за это короткое время, согласовать движение головы и тела». Он также мне дал и несколько очень полезных советов касательно самого богослужения и пения – навык, который он, несомненно, приобрел в театре. (А может быть, и в синагоге, черт его знает). «Если вам не будет хватать слов, товарищ Челюстников, бубните басом. Бубните как

можно больше, как будто вы сердиты на паству. И вращайте глазами, как будто проклинаете Бога, которому служите, хотя бы и временно. А что касается пения...» – «Нет сейчас на это времени, – сказал я ему. – Споем позже, Аврам Романич!»

Сапоги малинового цвета

Челюстников оставался в гримерной немногим больше часа: относительно короткое время, если иметь в виду пережитую им трансформацию. А.Т. Кашалов, которого все звали просто Алеша, шофер Райкома, тот самый, что его и привез, поцеловал ему руку, когда Челюстников сел в машину... «Это было что-то вроде генеральной репетиции, – пишет Челюстников, – и это позволило мне полностью освободиться от волнения в тот момент, когда я остался без надзора и советов Аврама Романича. Сначала я подумал, что Алеша шутит, а потом убедился, что человеческое легковерие безгранично, появившись я в императорской короне на голове, он бы, без сомнения, пал ниц в снег и грязь». «Потребуется еще много времени и усилий, – добавляет Челюстников, не без горечи и самолюбования, – чтобы из русской мужицкой души выкорчевать следы темного прошлого и вековой отсталости».

(Скажем сразу: Алексей Тимофеевич во время долгого следствия, даже под самыми жестокими пытками, никогда не признал, что в тот день его обдурили. На очной ставке с Челюстниковым в кабинете следователя, когда после того события прошло меньше месяца, он упорно придерживался своей версии, что он, собствен-

но, хотел пошутить с гражданином Челюстниковым. Несмотря на крайнюю степень истощения и сломанные ребра, он вполне убедительно отстаивал свою позицию: как он мог поверить, что в машину садится протоиерей, если в театр он привез товарища Челюстникова? На вопрос, точно ли, что именно в тот день, 21 ноября 1934 года, он якобы духовному лицу, то есть, товарищу Челюстникову, задал вопрос: «А что с гражданином Челюстниковым, надо ли его подождать?», Алеша ответил отрицательно. На вопрос, действительно ли он этому якобы духовному лицу, то есть, товарищу Челюстникову, сказал: «Скоро в Киеве легче будет встретить северного оленя, чем священника», он тоже ответил отрицательно. На вопрос, точно ли, что это якобы духовное лицо, то есть товарищ Челюстников, измененным голосом спросило его: «А зачем вам, сынок, священники?», он, А.Т. Кашалов, ответил: «За душу помолиться грешную», обвиняемый также ответил отрицательно).

В пять тридцать черный лимузин останавливается у неосвященного входа в церковь, протоиерей Челюстников поднимает полы рясы, и тут на мгновение сверкают его глянцевые сапоги малинового цвета. «Теперь понимаешь, дурак, – говорит Челюстников Алеше, который, вылупив глаза, смотрел то на его бороду, то на его сапоги, – теперь понимаешь?»

Кадельница

«Служба началась за несколько минут до семи», – пишет Челюстников, который нам, впрочем, представляет и детальный отчет о ходе церемонии. (Но известная

творческая потребность добавить к живому документу, возможно, ненужные краски, звуки и запахи, эту декадентскую святую троицу модернистов, не позволяют мне не вообразить и того, чего в тексте у Челюстникова нет, – трепетание и потрескивание свечей в серебряных подсвечниках, принесенных из ризницы киевского музея, – и тут документ вновь вмешивается в нашу воображаемую картину; отблеск пламени на призрачных ликах святых, в арочной полусфере апсиды, на складках длинного хитона Девы-Матроны на мозаике и на лиловой накидке, где заметны три белых креста; блеск сажки и позолоты на нимбах и окладах икон, на чашах, на потирах, короне и кадильнице, раскачивающейся в полумраке, позвякивая цепочками, а запах ладана, душа хвойных, смешивается с кисловатыми запахами хмеля и солода). «Как только влетел товарищ Рыльский, – продолжает Челюстников, – и начал креститься, я взял кадильницу и начал размахивать ею над головами нашей паствы. Я делал вид, что не замечаю, как входят новые верующие, хотя сквозь дым ладана четко разглядел в полумраке лысину товарища М. и прическу «ежилом» гражданина Эррио. Тихо, на цыпочках, они дошли до середины церкви и здесь остановились. Сильное волнение, которое я ощутил, когда они вошли, вдруг прекратилось, и я, размеренно размахивая кадилом, бормоча, двинулся к ним. Эррио скрестил руки, но не как для молитвы, а держа один кулак в другом, примерно на высоте паха, крепко сжимая свой баскский берет. Окурился, я прошел вперед на несколько шагов, потом обернулся: гражданин Эррио смотрел в потолок, потом наклонился к своему переводчику,

а он – к товарищу Пясникову. Потом я махнул кидлом в сторону Настасьи Федотьевны, которая встала на колени и склонила голову, закутанную до подбородка в черный платок. Не оборачиваясь, она бросила на меня быстрый взгляд, полный поддержки, и это рассеяло во мне и последние остатки волнения. (От утреннего страха на ее лице не осталось и тени). Рядом с Настасьей Федотьевной стояла, преклонив колени, с молитвенно сложенными руками, также закутанная в черный платок Жельме Чавчавадзе, старый партийный работник, супруга товарища Пясникова, и их восемнадцатилетняя дочь Хава, комсомолка. Кроме одной старушки, чье лицо мне было незнакомо и присутствие которой я не мог себе объяснить, все лица были более или менее знакомы: рядом с товарищем Алей, утром подавшей нам чай в кабинете товарища Пясникова, здесь находились еще две редакторши из нашей редакции и секретарши из Райкома, а еще часть женских лиц, мне незнакомых, без сомнения были жены товарищей из чека¹. Должен признать: все без исключения играли свою роль дисциплинированно и преданно. Кроме упомянутых, вот и имена остальных товарищей, потому что я считаю, как я уже сказал, их вклад в это дело ничуть не менее значимый, чем мой собственный. (Далее приводится сорок фамилий, кое-где сопровождающихся примечанием: «С женой»). Вместе с двенадцатью участниками агитбригады и их двумя охранниками, это в сумме составило около шестидесяти *верующих*». После перечисления фамилий Челюстников заключает: «Това-

1 Челюстников всегда использует это слово.

риш Эррио с сопровождающими его лицами оставался в церкви всего пять минут, хотя мне показалось, что он задержался на все пятнадцать».

Объяснение цирка

Богослужение еще продолжалось своим окаменевшим ритуалом, как с какой-нибудь фрески, где верующие в молитвенном экстазе то обращают взоры к земле, матери ада, то к небу, ложу рая, когда Эррио с сопровождающими его лицами потихоньку, на цыпочках, вышел и отправился рассматривать знаменитые фрески на винтовой лестнице. Искусствовед Лидия Крупеник, приглашенная для такого случая, объяснила на безупречном французском (с чем ее искренне поздравил товарищ Эррио) присутствие профанных сцен в храме Божиим, – загадку, которая не могла ускользнуть от внимания любознательного гостя. «Хотя винтовая лестница находится на достаточном удалении от священного места, в чем товарищ Эррио мог и сам убедиться, тем не менее, она все-таки составляющая часть храма, и, таким образом, присутствие сцен цирка в храме Божием могло вызвать удивление у священнослужителей и ввести их в искушение. *Mais ce sont là des scrupules tout modernes*, – продолжает Лидия Крупеник, – *aussi étrangers aux Byzantins du onzième siècle qu'aux imagiers et aux huchiers de vos cathédrales gothiques*. Как набожность ваших предков никоим образом не была оскорблена непристойными и часто скабрёзными сценами, которыми были украшены водостоки-гаргульи и мизерикордии, так и включение светского художест-

венного наследия в убранство церквей не имело в глазах наших набожных предков ничего искушающего». «Известно, – продолжает Лидия Крупеник, а товарищ Эррио кивает головой, внимательно рассматривая фрески, особенно заинтересовавшись представленными на них музыкальными инструментами, – что в Константинополе во времена императоров-иконоборцев лики Христа и святых заменили некоторыми сатанинскими сценами: скачками и кровавой охотой на дичь и людей». (Товарищ Эррио кивает головой и комкает в руках свою беретку, как какой-нибудь школяр). «При этом сопоставлении не следует забывать, – продолжает Лидия Крупеник своим нежным голоском, который как будто маскирует некоторую враждебность, – и другие памятники культуры на Западе, с похожими мотивами, например, плафон Палатинской капеллы в Палермо, которая содержит те же самые профанные мотивы, как в киевском Софийском соборе: борьбу атлетов или рабов, играющих на флейтах и свирелях. И, наконец, не следует пренебрегать тем фактом, что киевский Софийский собор был, *tout comme les chapelles de vos rois normands*, палатинской церковью и, следовательно, винтовые лестницы вели в покои князей; таким образом, профанные сцены были вполне на своем месте, *n'est-ce pas?*»

Товарищ Эррио, у которого мерзнут ноги¹, рассматривает фрески молча, погрузившись в размышления.

1 Известно, что Эррио из поездки вернулся больным и едва выкарабкался. Какой-то злопыхатель по этому поводу написал в «Шаривари», что Эррио, несомненно, разболелся, «посещая нетопленные церкви и перетопленные дворцы». Намек в свое время вызвал многочисленные желчные комментарии.

Механические львы

На следующий день, под свежими впечатлениями от поездки, сидя в теплом купе спального вагона поезда, следующего по маршруту Киев–Рига–Кёнигсберг, с температурой, закутавшись в плед, Эдуар Эррио записывает свои первые впечатления. Один факт (один из тех, которые касаются нашего рассказа) нарушает стройность его впечатлений: присутствие нищих перед Софийским собором. Он это свое удивление формулирует следующим образом: «Эти нищие перед церковью, сплошь калеки и старики, но иногда и молодые, с виду здоровые, которые окружили нас после выхода из прекрасного Собора Святой Софии, несомненно, это та крепкая порода русских босяков и юродивых (*iourodivy*), составляющих причудливую фауну Древней Руси». (Затем следуют заметки о задачах, которые предстоит решать новому молодому государству).

Те же самые сведения о нищих (поэтому мы их и фиксируем) находим и у Челюстникова: «На выходе из церкви мы арестовали группу паразитов, которые каким-то чудом тут столпились, наверное, привлеченные запахом ладана».

Пролистав свою записную книжку (из которой выглядывали лица, пейзажи и разговоры, целый мир, так похожий и так отличающийся от того, двенадцатилетней давности, когда он впервые приехал в Россию), Эррио пытается резюмировать свои впечатления, свести их к сути. И со свойственным ему прагматизмом и юмором, он решает, что свои новые наблюдения он сведет (пока) самым простым и эффективным образом:

он повторит эпиграф к своей книге, написанной двенадцать лет назад, он повторит его в знак неизменности своих убеждений, и тем заткнет рты злопыхателям. Он повторит его *in extenso*¹, так, как написал тогда, в ноябре 1922, и в этом предисловии-эпиграфе он обратится к той же персоне: Эли Жозефу Боа, главному редактору *Petit Parisien*. Потом, чтобы проверить правильность своего решения, он достает из дорожного саквояжа экземпляр своей книги в кожаном переплете, один из тех двадцати экземпляров, из которых у него остался только этот (*Il a été tiré de cet ouvrage 20 exemplaires sur Alfa réservés à Monsieur Edouard Herriot*) и бегло просматривает посвящение (которое мы приводим здесь в переводе, в связи с чем, без сомнения, многое теряем в аутентичности и стиле оригинала): «Дорогой друг, когда я отправился в Россию, меня не только осыпали градом оскорблений наши выдающиеся поносители, но и предрекали мне страшные несчастья. Самые доброжелательные считали меня копией того бедного монаха-францисканца, который посреди Средневековья отправился в путь из Лиона крестить татарского хана. Это было время, когда московские князья, чтобы пугать своих визитеров, прятали под своими престолами механических львов, чья обязанность состояла в том, чтобы зарычать в нужное время и на нужном месте разговора. А Вы, дорогой друг, были готовы понять мои намерения и поверить в мою беспристрастность. — Я возвращаюсь из поездки, которая прошла до смешного необременительно. Меня везде принимали с доброй волей.

1 Дословно (лат.). — Прим. перев.

Механических львов не заводили, чтобы они рычали на меня; я мог наблюдать спокойно и свободно. Я редактировал свои записки, не задумываясь над тем, понравлюсь кому-нибудь или нет. И я посвящаю их Вам в знак внимания: примите их. Преданный Вам, Э. Эррио».

Удовлетворенный принятым решением, он откладывает книгу и вновь смотрит на то, что назвал *меланхолией русского пейзажа*.

(Последствия второго путешествия Эррио в Россию имеют историческое значение и как таковые вне фокуса нашего повествования).

Post festum

А.Л. Челюстников был арестован в Москве, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого года, через четыре года после убийства Кирова (и в связи с этим), спустя неполных четыре года после событий с Эррио. Он находился в зале кинотеатра, когда к нему подошла билтерша и шепнула на ухо, что его вызывают по срочному делу. Челюстников встал, подтянул портупею с револьвером и вышел в фойе. «Товарищ Челюстников, – обращается к нему незнакомец, – вас срочно вызывают в Райком. Автомобиль ждет». Челюстников выругался про себя и подумал, что дело опять в какой-нибудь комедии, вроде той, что они устроили четыре года назад, за что он получил орден и повышение. Он сел в автомобиль, ни о чем не подозревая. По дороге его разоружили, надели на него наручники и отвезли на Лубянку. Его избивали и пытали три месяца, но он отказывался подписать протокол, что он подрывал советскую

власть, что участвовал в заговоре против Кирова, и что в Испании присоединился к троцкистам. Его посадили в одиночную камеру на десять дней, подумать: или он подписывает признание, или его жену арестовывают, а годовалую дочь отправляют в детский дом. Челюстников в конце концов ломается и подписывает протокол, в котором подтверждает все обвинения, включая и то, что он был участником группы заговорщиков под руководством Аврама Романича Шрама. Он получил десять лет. В лагере встретил своего старого знакомого, энкаведешника, с которым когда-то воевал в Испании. Стал доносчиком. Реабилитирован в 1958. Женат, трое детей. В 1963 году в составе туристической группы посетил Бордо, Лион и Париж. В Лионе осмотрел мемориальную библиотеку знаменитого мэра и сделал запись в книге отзывов: «Восхищаемся деятельностью Эдуара Эррио». Подпись: «А.Л. Челюстников».

Магическое коловоращение карт

Карлу Штайнеру

Доктор Таубе, Карл Георгиевич Таубе, был убит 5 декабря 1956, спустя неполные две недели после официальной реабилитации и через три года после возвращения из Норильлага. (Таубе, не считая предварительного заключения, провел в лагерях семнадцать лет). Это убийство оставалось нераскрытым вплоть до июня 1960, когда в Москве арестовали известного Костика Коршунидзе, по кличке Артист или Орел, специалиста по сейфам, «медвежатника» номер один, уважаемого в криминальных кругах короля взломщиков. Капитан Морозов, допрашивавший Костика, был изумлен его поведением: Костик дрожал! Тот самый Костик, который раньше, на следствии по прежним делам с гордостью говорил о себе и своей работе, с достоинством, как и пристало *пахану* его калибра. Бывало даже, что он в безвыходных ситуациях, не без высокомерия, признавал и то, чего от него не требовали – какой-нибудь грабеж (как, например, когда ограбили почту в Казани) двух-трехлетней давности. Такое признание можно было вытянуть из Коршунидзе, из-за его, ночных дел мастера, одной слабости, по-человечески совершенно понятной, но внешне в разладе с его жизнью: Костик не выносил побоев. Только угроза, повышенный тон следователя и замах рукой превращали Костика-Артиста, Костика-Орла в тряпку. А из тряпки

невозможно выжать признание. Следовательно, капитан Морозов, уже дважды за свою карьеру встречавшийся с ним (однажды в лагере, как с доносчиком, а второй раз, вскоре, как с взломщиком), знал, как *не надо* разговаривать с Коршунидзе (разумеется, кроме крайней необходимости). Костик, если ему обещали, что не будут бить и кричать на него (что оскорбляет его достоинство и убивает клетки его головного мозга), рассказывал долго и подробно, со всеми специфическими деталями, обо всех своих делах. Он был прирожденный актер, актер-импровизатор. Одно время в своей бурной жизни, он состоял в одной любительской труппе, где своему грубому лексикону придал известную утонченность. (Одна из его кличек, *Дантес*, свидетельствует об этом преображении; сам Коршунидзе трактовал ее и как Данте, и как Дантеса, он собственноручно выпустил пулю в свой поэтический череп, и из этого славного выстрела родился не менее славный *медвежатник*). Позже свое актерское мастерство он усовершенствовал в лагерях, где был членом агитбригады, режиссером, актером и стукачом. Кстати, Костик свои отсидки считал составной частью работы, как когда-то революционеры считали свою каторгу «университетами»; следовательно, его философия не вступала в противоречие с его жизнью: «В промежутке между двумя крупными *ролями* (это его слово) есть логическая лакуна, которую надо заполнить наилучшим доступным тебе способом». Следует признать, что во времена наивысшего триумфа Костика Коршунидзе, в тридцатые – пятидесятые годы, тюрьма для него, как и для других уголовников всякого рода, была только продолжением «воли». Миллионные толпы *политических* становились

объектом любых прихотей и извращений для так называемых *социально близких*; в лагерях воплощались в жизнь самые смелые и фантастические мечты уголовников; прежние господа, вокруг дач которых ходили кругами мелкие воришки и крупные грабители, теперь стали прислугой, «адъютантами» и рабами некогда изгнанных из рая, а патронессы правосудия, министерши и судьи – становились наложницами и рабынями тех, кого они когда-то судили и читали им лекции о социальной справедливости и классовом самосознании, ссылаясь на Горького, Макаренко и прочих классиков. Одним словом, это был «золотой век» уголовников, особенно тех, чьи имена в этой новой иерархии были овеяны ореолом *пахана*, что касалось и имени Костика Коршунидзе по кличке Артист. Король преступного мира только в преступном мире настоящий король; на него работают не только бывшие господа, но его воле покоряются и целые легионы закоренелых преступников: достаточно Коршунидзе изъявить свое желание, хотя бы только взглядом, и вот сапоги малинового цвета бывшего чекиста Челюстникова засверкают на ногах нового владельца (Костика), и, заботами и милостями повара, бывшего сводника и убийцы, подкармливают супругу (бывшего) секретаря Райкома, белокожую Настасью Федотьевну М., и приводят к Костику, потому что артист любит полненьких дам, «белокожих и фигуристых, это тип нашей, русской женщины».

Поскольку Костик и после своего долгого признания по-прежнему дрожал (а следовательно не повысил голоса, и даже, чтобы расположить к себе и одновременно рассмешить, называл «гражданин»), то капитан

Морозов, скорее по наитию, чем опираясь на информацию одного из своих осведомителей, отдал специалистам для сравнения отпечатки пальцев Костика и отпечатки, обнаруженные на фомке, инструменте взломщика, которой был четыре года назад убит в Тюмени известный Карл Георгиевич Таубе. Результат оказался положительным. Таким образом был сорван, по крайней мере, частично, покров тайны с одного, на первый взгляд, бессмысленного убийства.

Фотографии из альбома

Карл Георгиевич Таубе родился в 1899 г., в Эстергоме, Венгрия. Сколь бы ни были скудны сведения о его детских годах, провинциальная серость центрально-европейских городков начала века четко проступает из мрака времени: серые одноэтажные здания с дворами, которые солнце в своем медленном скольжении делит резкой демаркационной линией на квадраты убийственного света и какой-то влажной, заплесневевшей тени, похожей на темноту; аллеи акаций, весной уныло пахнущие густым сиропом или леденцами от кашля, детскими болезнями; холодный барочный блеск аптеки, где сверкает готика белых фарфоровых сосудов; угрюмый *гимназиум* с замощенным двором (обшарпанные зеленые скамьи, сломанные качели, похожие на виселицы, и беленые известкой деревянные уборные); здание ратуши, выкрашенное в тот оттенок желтого, называемый «мария-терезия» – цвет увядших листьев и осенних роз из романсов, которые под вечер наигрывает цыганская капелла на веранде Гранд-отеля.

Карл Таубе, сын аптекаря, мечтал, как многие дети из провинции, о том счастливом дне, когда сквозь толстые стекла очков он бросит последний взгляд на свой город, покидая его, с высоты птичьего полета, как смотрят сквозь лупу на засушенных и бессмысленных желтых бабочек в гимназическом альбоме: с тоской и отвращением.

Осенью тысяча девятьсот двадцатого на будапештском Восточном вокзале он сел в первый класс скорого поезда Будапешт–Вена; как только поезд тронулся, юный Карло Таубе махнул еще раз своему отцу (который, как темное пятно, исчез вдаль с шелковым платком в руке), затем быстро перенес свой кожаный саквояж в третий класс и сел вместе с поденщиками.

Credo

Два серьезных препятствия обнаруживаются на пути более тщательного изучения этого бурного периода в жизни Карла Таубе: нелегальное положение и многочисленные псевдонимы, которыми он в то время пользовался. Нам известно, что он посещал эмигрантские кафе, сотрудничал с Новским, общался не только с венгерской, но даже более того, с немецкой и русской эмиграцией, и что под именами Кароль Беатус и Кирилл Байц писал статьи в левых газетах. Один неполный и совершенно недостоверный список его трудов этого периода содержит около ста тридцати полемических материалов и статей, и здесь мы приводим только некоторые, которые можно было достаточно точно идентифицировать по известной ожесточенности стиля (что

всего-навсего иное название классовой ненависти): *Религиозный капитал*; *Красное солнце, или о некоторых принципах*; *Наследие Белы Куна*; *Белый и кровавый террор*; *Credo*.

Его биограф и знакомый по тем эмигрантским дням д-р Томаш Унгвари приводит следующее описание Таубе: «Когда я в тысяча девятьсот двадцать первом познакомился с *товарищем Байцем* в венской редакции журнала *Ма*, где в то время главным редактором был склонный к колебаниям Лайош Кашак, меня удивила его, Байца, скромность и уравновешенность. Хотя я знал, что он автор *Кровавого террора*, *Credo* и других текстов, я никак не мог связать воинственность его стиля с тем спокойным и молчаливым человеком в очках с высокой диоптрией, производившим впечатление застенчивого и растерянного. И, удивительно, – продолжает Унгвари, – я чаще слышал, как он говорит о медицинских проблемах, а не о политике. Однажды он в лаборатории клиники, где работал, показал мне аккуратно расставленные емкости с эмбрионами в различных фазах развития; на каждой емкости была этикетка с именем кого-нибудь из убитых революционеров. Тогда он мне сказал, что эти свои эмбрионы однажды показывал Новскому, и того буквально стошнило. Этот спокойный молодой человек, который в свои двадцать два года производил впечатление зрелого мужчины, вскоре войдет в столкновение не только с полицией, которая с самого начала за ним ненавязчиво следила, но и со своими соратниками: он считал, что наши акции недостаточно эффективны, наши статьи слабые. После четырех лет, проведенных в Вене, разочарованный медленным созреванием революционных

событий, он уехал в Берлин, где, как ему казалось, в настоящий момент находится ядро и сердце всех лучших эмигрантов из европейской темницы. С того момента и до тридцать четвертого года его след затерялся. Мне иногда казалось, что в какой-нибудь статье, написанной под псевдонимом, и, я думаю, что не ошибался, я узнаю фразу Таубе, в которой, «как будто был заложен детонатор» (как однажды сказал Лукач). Мне известно, что он был сотрудником Эрнста Тельмана вплоть до ареста последнего. А потом мы весной тридцать пятого читали его речь, произнесенную на международном форуме в Женеве, в которой он обнародовал все ужасы Дахау и еще раз предупредил мир об опасности: *Призрак бродит по Европе, призрак фашизма*. Слабаки, которые восхищались мощью новой Германии, ее загорелыми юношами и крепкими амазонками, проходящими парадом под звуки строгих германских маршей, на мгновение вздрогнули, услышав пророческие слова Таубе. Но только на мгновение: когда Таубе, в ответ на провокацию одного известного французского журналиста снял пиджак и смущенно, но решительно задрал рубаху на спине и показал незажившие следы тяжелых ран. Как только официальная нацистская пропаганда назвала выступление Таубе «коммунистической провокацией», они отринули свои сомнения: европейскому духу необходимы новые, сильные люди, а они являются из крови и огня. И этот же самый журналист, которого на мгновение смутили незажившие раны, в своей статье отбросил всяческие сомнения и дилеммы, с омерзением к собственной слабости и малокровию своей романской расы, «хнычущей от упоминания крови».

Долгие прогулки

Однажды дождливым осенним днем тысяча девятьсот тридцать пятого года перейдя литовско-советскую границу, доктор Карл Таубе вновь становится Кириллом Байцем, возможно, желая раз и навсегда стереть следы нравственных и физических страданий, которыми был отмечен. В Москву он прибыл (по версии Унгвари) 15 сентября, а другой источник приводит несколько более позднюю дату: 5 октября. Два месяца Таубе, он же Байц, гулял по улицам Москвы, как околдованный, вопреки ледяным ливням и метелям, от которых запотевали толстые стекла его очков. Часто видели, как он под руку с женой вечерами бродит у кремлевских стен, вдохновленный чудом прожекторов, которые крупными красными буквами освещают ночную Москву революционными лозунгами. «Он хотел видеть все, видеть и осязать, не только из-за близорукости, но и затем, чтобы убедиться, что все это не сон», – пишет К.Ш. В гостинице «Люкс», где проживала вся элита европейского Коминтерна, и где ему выделили квартиру, он бывал мало, с прежними соратниками из Вены и Берлина общался как-то без воодушевления. За два месяца скитаний он узнал Москву лучше, чем какой-либо другой город в своей жизни; он знал все проспекты, все улицы, парки, общественные здания и памятники, троллейбусные и трамвайные линии; он знал все вывески магазинов и все лозунги; «...он учил русский, – пишет один его биограф, – на языке транспарантов и лозунгов, на том самом языке действия, к которому и сам чаще всего прибегал».

Однако в какой-то день он понял, не без удивления, что кроме застегнутых на все пуговицы официальных служащих Коминтерна, он не познакомился ни с одним русским человеком. Это внезапное открытие его поразило. С прогулки он вернулся простуженным и с высокой температурой.

По свидетельству уже упомянутого К.Ш., который провел около шести месяцев в Норильлаге вместе с Таубе, в тот день случилось следующее: в троллейбусе на Тверском бульваре рядом с Таубе сел какой-то человек, с которым тот хотел начать разговор; когда человек понял, что имеет дело с иностранцем, то быстро встал и пересел, пробормотав какое-то извинение. То, как он это сделал, потрясло Таубе, как удар током, и как какое-то внезапное и важное открытие. Он сошел на первой же остановке и бродил по городу до рассвета.

Целую неделю он не выходил из своей комнаты на четвертом этаже отеля «Люкс», где жена лечила его чаем и сиропом от кашля. Он вышел из этой болезни каким-то одряхлевшим и еще больше постаревшим, и энергично постучался в двери товарища Черномордикова, отвечавшего за персональные вопросы. «Товарищ Черноморди́ков, – сказал он ему своим дрожащим и хриплым голосом, – я свое пребывание в Москве не считаю курортом. Я хочу работать». – «Потерпите еще немного», – сказал ему загадочно Черноморди́ков.

Интермеццо

Наименее известным периодом в жизни доктора Таубе может считаться, как это ни удивительно, время

с момента его приезда в Москву до его ареста через год. Некоторые свидетельства указывают, что одно время он работал в профсоюзном интернационале, затем, по настоянию лично Белы Куна (уже и самого в немилости) стал журналистом, потом переводчиком и, в конце концов, преподавателем при венгерском отделении Коминтерна. Известно также, что в августе 1936 г. он побывал на Кавказе, куда сопровождал жену на лечение. Унгвари пишет, что речь шла о туберкулезе, а К.Ш. утверждает, что она лечилась «от нервов». Если мы согласимся с этими сведениями (а многие обстоятельства позволяют считать их достоверными), то они предвещают нас о тайных и неизвестных нам душевных страданиях, которые переживают в этот период супруги Таубе. Трудно сказать, дело в разочаровании или в предчувствии надвигающейся катастрофы. «Я уверен, – пишет К.Ш., – что для Байца все, что с ним происходило, не могло стать основанием для более фундаментальных выводов: он считал, как, впрочем, и все мы тогда, что дело всего лишь в небольшом недоразумении с ним лично, в недоразумении, которое не связано с главным и содержательным ходом истории, и поэтому, как таковое, несущественно».

Однако один, на первый взгляд незначительный инцидент в связи с Таубе привлекает наше внимание: где-то в конце сентября некий молодой человек, в кепке, надвинутой на глаза, вылетел из-за угла на Тверском бульваре и столкнулся с Таубе (который возвращался из типографии) так неловко, что у Таубе на тротуар упали очки; молодой человек смущенно извинился, и в спешке и смятении наступил на стекла и разбил их вдребезги, а потом мгновенно исчез.

Доктор Карл Таубе, он же Кирилл Байц, был арестован ровно через четырнадцать дней после этого инцидента, 12 ноября 1936 г., в два часа тридцать пять минут ночи.

Тупой топор

Если бы пути судьбы не были непредсказуемыми в своей запутанной архитектуре, где конец никогда не виден, но угадывается, можно было бы сказать, несмотря на ужасный *конец*, что Карл Таубе родился под счастливой звездой (если счесть приемлемым наш тезис о том, что, *невзирая ни на что*, временное страдание бытия более ценно, чем окончательная пустота небытия): те, кто хотел убить в Таубе революционера, и те, в Дахау, и те, на далекой Колыме, или не хотели, или не могли убить в нем медика, *врача-кудесника*. И здесь мы не будем развивать в связи с этим еретическую и опасную мысль, которая могла бы быть выведена из этого случая: что болезнь и ее тень, смерть, это, особенно в глазах тиранов, только формы проявления сверхъестественного, а *кудесники* – это своего рода волшебники: логическое следствие такого взгляда на мир.

Нам известно, что одно время в конце 1936 г. доктор Таубе находился в лагере в Мурманске; что ему вынесли смертный приговор, а потом наказание заменили на двадцать лет каторги; что в течение первых месяцев он пытался держать голодовку из-за того, что у него конфисковали очки. И это все. С весны 1941 г. мы обнаруживаем его в одном лагере, где никелевые рудники, на Крайнем Севере. В то время он уже носит белый

халат и, как какой-нибудь праведник, посещает своих многочисленных пациентов, приговоренных к медленному умиранию. Две операции сделали его известным: одна, которую он сделал своему бывшему мучителю с Лубянки, лейтенанту Криченко (теперь заключенный), его он успешно прооперировал после разрыва аппендикса, а вторая, которую он сделал какому-то уголовнику по фамилии Сегидуллин; из четырех пальцев, которые тот рубил себе тупым топором, чтобы освободиться от ужасных мучений в аду никелевого рудника, Таубе спас два. Интересной была реакция бывшего взломщика: когда он понял, что его собственная хирургическая операция прошла неудачно, то пригрозил Таубе, что накажет его как следует – перережет ему глотку. И только тогда, когда другой уголовник, с которым он делил нары, передал ему слухи о скорой реабилитации *социально близких* (слухи подтвердились), тот изменил свое мнение и отозвал (по крайней мере, на время) торжественно объявленную угрозу: похоже, он понял, что все-таки для занятий воровским ремеслом те два пальца левой руки будут представлять ценность.

Трактат об азартных играх

В нарастающем потоке свидетельств об аде ледяного архипелага совсем немного документов, в которых описывался бы механизм азартных игр: я здесь имею в виду не азарт жизни и смерти: вся литература о поте-

рянном континенте, по сути дела, ни что иное, как расширенная метафора этой Большой Лотереи, в которой выигрыши редки, а проигрыши – правило. Однако для исследователей современных идей было бы любопытно изучить взаимосвязь этих механизмов: пока Большая Лотерея кружилась в своем неумолимом вращении, как воплощение принципа мистического и злого божества, до тех пор жертвы этого адского коловращения, носимые духом какого-то, одновременно платоновского и дьявольского *imitatio*, лишь имитировали великий принцип азарта: банды уголовников с лестной и привилегированной дефиницией «социально близких» играли бескрайними полярными ночами на все, что только можно себе вообразить: на деньги, на шапку-ушанку, на сапоги, на миску супа, на пайку хлеба, на кусок сахара, на мерзлую картошку, на кусок татуированной кожи (своей или чужой), на изнасилование, на нож-тесак, на табак, на жизнь.

Однако история тюремных карт и азартных игр новой Атлантиды не написана. Поэтому, я думаю, будет не лишним, если я коротко изложу (опираясь на Тарашенко) некоторые из принципов этих чудовищных игр, принципов, которые определенным образом вплетаются в этот рассказ. Тарашенко описывает многочисленные азартные игры, которые он наблюдал у уголовников в течение своего десятилетнего пребывания в различных частях затонувшего мира (а больше всего на Колыме) и из которых, может быть, наименее причудлива, когда играют при помощи вшей; игра, во многом подобная той, в которую в более теплых краях играют с мухами: перед каждым игроком кладут ку-

сок сахара и в благоговейной тишине ждут, когда муха сядет на один из кусков и таким образом определит выигравшего или проигравшего, это как договорятся. У вшей такая же роль, только в этом случае приманкой служит сам игрок, без каких-либо искусственных вспомогательных средств, кроме смрада собственного тела и «личной удачи». Разумеется, насколько вообще может идти речь об удаче. Потому что часто у того, до кого доползла вошь, была крайне неприятная задача – перерезать горло тому, кого выигравший назначал жертвой. Не менее интересен и перечень тюремных игр и их иконография. Хотя в сороковые годы уже нередко в руках уголовников бывают и настоящие карты (отобранные или купленные у вольных), тем не менее, говорит Тарашченко, самой любимой и распространенной игрой была игра самодельными (и, разумеется, краплеными) картами, сделанными из склеенных слоев газетной бумаги. Играли во все карточные игры, начиная с самых простых, преферанс, покер и «в дурака», и вплоть до какой-то формы таинственного таро.

Чортик

«Чортик» (Дьявол) или «Матушка» представляет собой символический и зашифрованный язык и во многом похож на марсельское таро. Однако любопытно, что опытные уголовники, с большим стажем отсидки, пользовались этими рукотворными картами для другой формы коммуникации: часто они вместо разговора они поднимали какую-нибудь карту, а потом, как по приказу, мелькает нож, проливается кровь. То, что можно разо-

брать из конфиденциального объяснения одного убийцы, доверие которого нам удалось завоевать, это факт, что в средневековую иконографию таких карт вплелась и ориентальная, и древнерусская символика. В наиболее распространенном варианте число карт в колоде свелось к двадцати шести. «Мне ни разу не довелось, – говорит Тарашенко, – увидеть полную колоду в семьдесят восемь листов, хотя расчеты ясно показывают (если разделить 78 на три и два), что речь идет только о сокращенной колоде классической комбинации тарокко. Я уверен, что сокращение произошло по обычным техническим причинам: такие карты было легче изготовить и спрятать». Что касается собственно раскраски (иногда цвета были обозначены только начальными буквами), то она сводилась к четырем цветам: розовый, синий, красный, желтый. Идеографические знаки, чаще всего представленные элементарными контурами, следующие: Жердь (приказ, команда, голова; но и со значением: разбитый череп); Кубок (мать, водка, блуд, союзничество); Кинжал (свобода, педерастия, перерезанное горло); Червонец (убийство, издевательство, одиночная камера). Остальные символы и варианты: Шлюха, Царица, Царь, Отец, 69, Тройка, Власть, Повешенный, Безымянный (Смерть), Утроба, Дьявол (Черт, Чортик), Тюрьма, Звезда, Луна, Солнце, Суд, Копье (или Мачта). Чортик или Матушка – это, по сути дела, просто вариант антропоцентричной игры, которая дошла до наших времен из далекого мифического Средневековья, скрещенного с Азией: полная колода разложенных карт Черта представляет собой Колесо Фортуны и для фанатиков имеет значение перста судьбы. Тарашенко

делает вывод: «Связь, существующая в европейском тарокко с символами хиромантии и зодиакальными знаками, и здесь не утрачена: наколки на груди, на спинах и задницах уголовников имеют то же значение, что и зодиакальные знаки для людей с Запада, и могут быть по тому же принципу связаны с «Чортиком». Терц эту связь татуировок и мифологических символов также рассматривает в метафизическом плане: «Пример татуировки: спереди орел, клювом раздирающий грудь Прометея, пёс в необычной позе соития с некой дамой. Две стороны одной медали. Лицо и изнанка. Свет и тьма. Трагедия и комедия. Пародия на собственную патетику. Близость секса и смеха. Секса и смерти».

Макаренковские ублюдки

В голубоватом полумраке камеры, где клубится дым, возлежа на полных клопов *шконках*, на боку, как бояре, четверо картежников-уголовников вертят в выщербленных пожелтевших зубах грязную соломинку или посасывают махорку, свернутую в толстую слюнявую самокрутку, а вокруг них толкается пестрая толпа болельщиков, с удивлением рассматривающих лица известных убийц и их татуированные груди и ручки (потому что карты они видеть не могут, карта для *паханов*, на карту смотреть нельзя, если только она не сброшена, иначе это может дорого обойтись). Но им довольно милости быть на этом уголовном олимпе, рядом с теми, кто в благоговейной тишине держит в своих руках судьбу других, судьбу, что в глазах болельщиков посредством магического коловращения карт приобре-

тает видимость случайности и фатума; быть у них под рукой, подтопить им печку, подать воды, украсть для них полотенце, искать вшей в их рубашках или же, по их кивку, кучей навалиться на кого-нибудь из тех *внизу* и заставить замолчать раз и навсегда, чтобы они своим бормотанием во сне или наяву, своими проклятиями небу не мешали неумолимому ходу игры, в которой только безымянный аркан с порядковым номером 13, обозначенный цветом крови и огня, может пресечь или сжечь любую иллюзию. Поэтому счастье уже в том, что ты наверху, на шконках, поблизости от татуированных богов, Орла, Змеи, Дракона и Обезьяны, и что ты можешь без страха слушать их таинственные заклинания и их ужасные ругательства, что оскверняют псом и дьяволом родненькую мамочку, единственную святыню уголовную. Вот так, из голубоватого полумрака проступает картина этих преступников, макаренковских ублюдков, что под легендарным названием *социально близких* появляются вот уже без малого пятьдесят лет на театральных подмостках европейских столиц в пролетарских кепках, хулигански надвинутых на лоб, и с красной гвоздикой в зубах, той сволочи, что в балете *Барышня и хулиган* изобразит свой известный пируэт превращения из уголовного в трубадура и в овцу, кротко пьющую воду с ладони.

Обезьяна и Орел

Держа карты между обрубками пальцев левой руки (отныне и навсегда будет легко узнать известного уголовного, а в полицейских картотеках будет таинственно

не хватать отпечатков указательного и среднего пальцев), Сегидуллин, голый до пояса, с заросшей грудью, на которой вытатуирован онанирующей самец обезьяны, смотрит налитыми кровью глазами на пахана Коршунидзе, обдумывая мечь. На мгновение наступила гробовая тишина, сверху на шконках, среди уголовников, и внизу, среди тех, кто осужден за преступление, стократ более опасное – мысли. Болельщики задержали дыхание, не дышат, не отводят взгляда, не шелохнутся, а смотрят куда-то в пустоту, с окурком, прилепившимся к губе, и не смеешь его выплюнуть, не смеешь шевельнуть головой или губами, не смеешь коснуться волосатой груди, по которой ползет вошь. И внизу, среди полумертвых и истощенных лагерников, которые до сих пор перешептывались, настала тишина: что-то происходит, уголовник опасен, когда молчит, колесо судьбы остановилось, по кому-то мать заголосит. И это все, что они знают, все, что они могут знать, им, кроме этого жуткого языка тишины и брани, совершенно неизвестна зашифрованная речь уголовников, и тут им никак не помогут и те слова, значение которых им известно, потому что в бандитском жаргоне значения смещены, Бог значит Дьявол, а Дьявол значит Бог. Сегидуллин ждет, когда пахан откроет свои карты, его очередь. Круминыш и Гаджашвили, двое игроков, чьи имена также запомнила история преступного мира, отложили свои карты и теперь наблюдают, с приятным ощущением мандража, которое их охватывает, дуэль Обезьяны и Орла. (Сегидуллин – бывший пахан, место которого, пока он был на больничке, занял Коршунидзе по кличке Артист, для друзей Орел).

Внизу воцарилось беспокойство: тишина на уголовных шконках продолжалась слишком долго; все ожидают крика и брани. Однако дуэль идет между двумя паханами, бывшим и теперешним, и правила игры несколько иные: сначала слышится язык соперничества и вызова. «Наконец-то, – говорит Орел, – теперь ты, Обезьяна, хотя бы сможешь засовывать левую руку в карман». Прошло несколько секунд, и Сегидуллин, бывший пахан и известный убийца, ответил на страшное оскорбление: «Орел, об этом потом. Теперь ты покажи карты». Кто-то закашлялся, наверняка, один из двоих игроков, кто бы осмелился на такое безрассудство. «Левой или правой рукой, Обезьяна?» – спрашивает Коршунидзе. «Говорю тебе, Птица, покажи карты, можешь держать их хоть в клюве». Тогда вдруг на мгновение скрипнули шконки, потом тишина. И тут Коршунидзе грязно ругается, помяная матушку увечную, единственную святыню уголовную. Все поняли, и те, кто не понимал языка уголовников: пахан проиграл, по кому-то мать заголосит.

Сука

Никогда на самом деле не узнать, кто рассказал по секрету доктору Таубе, как закончилась знаменитая карточная партия, в которой его приговорили к смерти, и в которой трусливая Обезьяна, не без помощи удачи, поразила королевского Орла, пахана Коршунидзе. Наиболее вероятно предположение, что кто-то из уголовников-стукачей, в кошмарной дилемме, впасть ли в немилость властей или в немилость своих, в конце

концов, в азартной игре с судьбой, где на кону была иллюзорная и обманчивая защита его сиюминутных хозяев, сообщил об этом деле лагерному начальству. Таубе, в какой-то мере пользовавшийся благосклонностью начальника лагеря, некоего Панова, известного своей жестокостью, отправился с первым конвоем на Колыму, за три тысячи километров к северо-востоку. Предположение, которое приводит Тарашенко, мне кажется вполне приемлемым: Сегидуллин через своих «шестерок» сам сообщил Таубе; равно как мне представляется логичным и объяснение этого поступка Сегидуллина: Обезьяна хотел унижить Орла. Тот, от кого в тот день отвернулась удача, и кто взял на себя торжественное обязательство – ликвидировать Таубе, но за счет победителя – Сегидуллина – таким образом, не имеющего возможности исполнить свою святую клятву, будет еще долго носить позорное звание *суки*. А быть *сукой* – это значит быть презируемым всеми. Нечто недопустимое для бывшего пахана.

Коршунидзе, по кличке Артист или Орел, начал вертеться и завывать, как поганая сучка, уже на следующий день, когда, вернувшись из рудника (где он стал надсмотрщиком и бичом лагерников), узнал, что Таубе уехал с конвоем. «Тот, кого ты *взял на себя*, женился на другой», – сказал ему Сегидуллин своим брюзгливым голосом нового пахана. «Врешь, Обезьяна», – ответил Коршунидзе, бледный как смерть, но по его лицу было заметно, что он поверил словам Сегидуллина.

«Свиная нога»

Коршунидзе, полинявший орел, бывший прославленный «медвежатник», бывший пахан, восемь лет таскался с поджатым хвостом, как поганая сука, пряча своего орла, клевавшего его печень, меняя лагеря и лагерные больницы, где из его желудка доставали ключи, мотки проволоки, ложки, ржавые гвозди. Восемь лет его сопровождала тень Сегидуллина, как злой рок, передавая ему на пересылках сообщения, в которых тот называл его настоящим именем: *сука*. А потом однажды, уже на свободе (если можно назвать свободным человека, живущего под страшным грузом унижения) он получил письмо от кого-то, кто знал его тайну. Письмо было отправлено из Москвы и шло до Маклаково десять дней. В конверте, на котором стоял штамп с датой 23 ноября 1956 года, оказалась вырезка из газеты (без даты) с каким-то странным текстом, из которого, однако, Коршунидзе смог понять то, что ему было нужно: что доктор Таубе, старый член партии, когда-то член Коминтерна, известный под именем Кирилл Байц, реабилитирован и после освобождения из лагеря работает главврачом больницы в Тюмени. (Предположение Тарашченко, что газетную вырезку послал тоже Сегидуллин, мне представляется вполне реалистичным; «медвежатник» станет убийцей или останется *сукой*; достаточная сатисфакция для того, кто долгие годы наслаждался местью). Коршунидзе уехал в тот же день. Как он добрался из Архангельска до Тюмени без необходимых документов и всего за три дня, здесь не имеет особого значения. С тюменского вокзала до больницы он до-

шел пешком. На следствии привратник припомнил, что в тот вечер, когда случилось убийство, какой-то человек расспрашивал про доктора Таубе. Привратник не мог припомнить его лица, потому что кепка у незнакомца была надвинута на глаза. Таубе, приехавший в Тюмень несколько дней назад из Норильска, где он два года жил на вольном поселении, устроился на территории больницы и той ночью дежурил. Когда Коршунидзе вошел, Таубе наклонился над столом в кабинете дежурного врача и открывал консервную банку с тунцом. В комнате тихо играло радио, и Таубе не слышал, как отворилась дверь с мягкой обивкой. Коршунидзе вынул из рукава «свиную ногу», инструмент взломщика, и нанес ему три страшных удара по черепу, не видя лица. Потом не спеша, и даже с облегчением прошел мимо привратника, бывшего казака, который, напившись водки, спал, выпрямившись и едва покачиваясь, как в седле.

В последний путь

В последний путь доктора Таубе провожали всего двое: его домработница фрау Эльзе, немка из Поволжья (один из редких выживших экземпляров этой человеческой флоры) и одна тюменская богомолка, слегка не в себе, которая ходила на любые похороны. Фрау Эльзе служила у доктора домработницей еще в далекие московские времена, то есть, когда Таубе только приехал в Россию. Сейчас ей могло быть около семидесяти. Хотя ее родным языком был немецкий, как, впрочем, и Таубе, они между собой всегда изъяснялись на русском. Судя по всему, на то были две причины: прежде всего, желание,

чтобы семья Таубе как можно легче приспособилась к новой среде, и своего рода избыточная учтивость, бывшая всего лишь более изысканной формой страха.

Поскольку из семьи доктора больше никого не осталось в живых (его жена умерла в лагере, а сын погиб на фронте), фрау Эльзе вновь вернулась к своему родному языку: сухими посиневшими губами она вполголоса шептала молитву на немецком. А в то же время богомолка, гундося, молилась на русском, за упокой души раба Божьего Карла Георгиевича, как было написано золотыми буквами на венке, заказанном коллективом больницы.

Это было после полудня ужасно холодного 7 декабря 1956 года, на тюменском кладбище.

Далеки и неисповедимы пути, связавшие грузинского убийцу с доктором Таубе. Далеки и неисповедимы, как пути Господни.

Гробница для Бориса Давидовича

Памяти Леонида Шейки

История его сохранила под фамилией Новский, что, несомненно, только псевдоним (точнее говоря, один из его псевдонимов). Но то, что сразу вызывает сомнение – это вопрос: а действительно ли история его *сохранила*? В Энциклопедическом словаре Гранат и в дополнении к нему среди двухсот сорока шести авторизованных биографий и автобиографий великанов и последователей революции его имени нет. Хаупт в своем комментарии к упомянутой энциклопедии отмечает, что все значительные личности революции здесь представлены, и только сожалеет о «странном и необъяснимом отсутствии Подвойского». Однако и он даже не намекает на Новского, роль которого в революции в любом случае более значительна, чем вышеупомянутого. Вот так, *странным и необъяснимым образом*, этот человек, придавший своим политическим принципам значение строгой морали, этот суровый интернационалист был зафиксирован в хрониках революции как личность без лица и без голоса.

Посредством этого текста, будь он сколь угодно фрагментарным и неполным, я попытаюсь оживить воспоминания о странной и противоречивой личности Новского. Известные лакуны, особенно касающиеся самого важного периода его жизни, периода собственно

революции и лет, которые следуют непосредственно за ней, можно объяснить теми же причинами, которые приводит упомянутый комментатор в связи с остальными биографиями: его жизнь после 1917-го смешивается с общественной жизнью и становится «частью истории». С другой стороны, как говорит Хаупт, нельзя не учитывать, что эти биографии были написаны в конце двадцатых годов: поэтому в них есть существенные лакуны, умалчивание и спешка. Предсмертная спешка, добавим.

У древних греков был один достойный уважения обычай: тем, кто сгорел, кого поглотили кратеры вулканов, тем, кто погиб в лаве, тем, кого растерзали дикие звери или сожрали акулы, тем, кого расклевали стервятники в пустыне, устанавливали на их родине так называемые *кенотафы*, надгробные памятники, «пустые гробницы», потому что тело – это огонь, вода или земля, а душа – альфа и омега, ей надо возвести святилище.

После Рождества 1885 года Второй императорский кавалерийский эскадрон остановился на западном берегу Днепра, чтобы отдохнуть и отпраздновать Богоявление. Князь Вяземский – в чине кавалерийского полковника! – достал из ледяной воды Христово знамение в виде серебряного креста; до этого солдаты взорвали толстый ледяной панцирь динамитом, длиной метров двадцать; вода была стального цвета. Молодой князь Вяземский не позволил, чтобы ему завязали веревку вокруг пояса. Он перекрестился и посмотрел своими голубыми глазами в ясное зимнее небо, потом прыгнул в воду. Его выход из ледяных водоворотов был отмечен

салютом из винтовок, а потом хлопками шампанских пробок в импровизированной офицерской столовой, размещенной в здании начальной школы. Солдаты тоже получили свое праздничное угощение: по семьсот граммов русского коньяка – личный подарок князя Вяземского Второму кавалерийскому эскадрону. Пили до раннего вечера, а праздновать начали сразу после богослужения, совершившегося в сельской церкви. Только Давид Абрамович не присутствовал на службе Божией. Говорят, в это время он читал *Талмуд*, лежа в теплых яслях на конюшне, что мне из-за обилия литературных ассоциаций, представляется сомнительным. Кто-то из солдат заметил его отсутствие и отправился на поиски. Нашли его в хлеву (по другим источникам – на конюшне) с непечатой бутылкой коньяка. Его силой заставили выпить напиток, подаренный от княжеских щедрот, потом его раздели до пояса, чтобы не осквернять униформу, и начали его стегать кнутом. Потом его, потерявшего сознание, привязали к коню и отволокли к Днепру. То место, где был разбит лед, уже схватилось тонкой коркой. Его толкнули в ледяную воду, держа за обвязанные вокруг пояса вожжи, чтобы не утонул. Когда его, наконец, вытащили из воды, посиневшего и полумертвого, то влили в рот остаток коньяка и, держа серебряный крест надо лбом, хором запели *Плод чрева Твоего*. В сумерках его с высокой температурой перенесли из конюшни к сельскому «учителю» по имени Соломон Меламуд. Раны на спине несчастного рядового мазала рыбьим жиром шестнадцатилетняя дочь Меламуда: до того, как отправиться за своим отрядом, который еще утром поспешил на подавление какого-

то восстания, Давид Абрамович, все еще в лихорадке, поклялся ей, что вернется. Обещание он сдержал. От этой романтической встречи, в аутентичности которой, похоже, нет причин сомневаться, родится Борис Давидович, который войдет в историю под именем Новский. Б.Д. Новский.

В Полицейских архивах Охранного отделения записаны три года рождения: 1891, 1893, 1896. Это не только из-за поддельных документов, которыми пользовались революционеры; несколько монеток писарю или попу, и дело было сделано: это, скорее, еще одно доказательство коррумпированности чиновничества.

В четыре года он уже умел читать и писать; в девять отец взял его с собой в трактир *Саратов*, рядом с еврейским рынком, где за столом в углу, рядом с фарфоровой плевательницей, он занимался своим ремеслом стряпчего. Сюда заглядывали и отставные царские солдаты, с рыжими огненными бородами и глубокими изможденными глазами, и еврейские торговцы-выкрес-ты из ближних бакалейных лавок, в длинных засаленных лапсердаках и с русскими именами, не вязавшими с их семитской походкой (три тысячи лет рабства и долгая традиция погромов выработали походку, усовершенствованную в гетто). Маленький Борис Давидович переписывал их ходатайства, потому что уже был грамотнее своего отца. По вечерам, говорят, мать, напевая, читала ему псалмы. В десять лет один старый управляющий имением рассказывает ему о крестьянском восстании 1846 года, тягостную историю, в которой кнут, сабля и виселица играют роль вершителя

справедливости и несправедливости. В тринадцать, под влиянием Соловьевского *Антихриста* убегает из дому, но в сопровождении полиции его возвращают с какой-то далекой *станции*. Здесь все резко и необъяснимо прерывается: мы обнаруживаем его на базаре, где он продает пустые бутылки по две копейки за штуку, потом предлагает контрабандный табак, спички и лимоны. Известно, что в это время его отец попал под губительное влияние нигилистов и довел семью до крайности. (Некоторые утверждают, что этому способствовал туберкулез, усматривая, наверное, в болезни симптомы некоего коварного, физиологического нигилизма).

В четырнадцать лет он ученик в *кошерной* мясной лавке, спустя год мы обнаруживаем его моющим посуду и чистящим самовары в том самом трактире, где он когда-то переписывал ходатайства, в шестнадцать – в арсенале в Павловграде, где он работает на сортировке снарядов; в семнадцать – в Риге, докером, во время забастовки он читает Леонида Андреева и Шеллер-Михайлова. В том же году мы обнаруживаем его на картонажной фабрике *Теодор Кибель*, где он работает за поденную плату в пять копеек.

В его биографии нет недостатка в сведениях, а то, что смущает, это их хронология (которую еще больше запутывают фальшивые имена и головокружительная смена мест пребывания). В феврале 1913 г. мы обнаруживаем его в Баку, он помощник кочегара на локомотиве; в сентябре того же года он один из зачинщиков забастовки на обойной фабрике в Иваново-Вознесенске; в октябре – один из организаторов уличных протестов

в Петрограде. Вполне достаточно и деталей: как конная полиция разгоняет демонстрантов саблями и черными кожаными плетками, юнкерским вариантом кнута. Борису Давидовичу, в ту пору известному под именем Безработный, удастся скрыться через черный ход публичного дома на улице Долгоруковской; в течение нескольких месяцев он ночует с бездомными в закрытой на ремонт городской бане, затем ему удастся вступить в контакт с некоей террористической группой бомбистов, готовящей покушения; с весны 1914-го под именем сторожа упомянутой бани (Новский) мы обнаруживаем его закованным в ножные кандалы на этапе во Владимирский централ (каторжную тюрьму); больной и с высокой температурой, он бредет по этапу как в тумане; попав в Нарым, где с его исхудавших и натруженных голеней снимают оковы, он сумеет совершить побег в рыбацкой лодке, найденной им без весел, привязанной к берегу; он плыл в лодке по быстрому течению реки, но вскоре понял, что стихия природы, как и человеческая стихия, не подвластна мечтам и проклятиям – его нашли в пяти верстах ниже по течению, куда его выбросил водоворот; он провел несколько часов в ледяной воде, может быть, сознавая, что переживает повторение семейной легенды: у берега еще держалась тонкая корка льда. В июне под именем Яков Маузер он вновь был осужден на шесть лет за организацию тайного террористического общества из каторжан; в течение трех месяцев в Томской тюрьме он слышит крики и прощальные слова тех, кого ведут на казнь; в тени виселицы читает тексты Антонио Лабриолы о материалистической концепции истории.

С весны 1912 года в Петрограде, в изысканных салонах, где все более обеспокоенно начинают говорить о Распутине, появляется один молодой инженер по фамилии Землянников, в светлом костюме, сшитом по последней моде, с темной орхидеей в петлице, в шегольской шляпе, с тростью и моноклем. С хорошей осанкой, широкоплечий, с бородкой и темными густыми волосами, этот денди кичится своими знакомствами, о Распутине говорит насмешливо, утверждает, что лично знаком с Леонидом Андреевым. Далее история развивается по классической схеме: поначалу недоверчивые по отношению к молодому бахвалу дамы начинают засыпать его приглашениями и обнаруживают его несомненное обаяние, особенно, когда Землянникову удалось доказать правдивость по крайней мере одного из своих рассказов. Марья Григорьевна Попко, жена высокопоставленного императорского чиновника, однажды видела его в предместье, как он, сидя в черной лакированной пролетке, отдает приказания, склонившись над своими чертежами; новость, что Землянников – главный инженер по проведению электричества в Петрограде (новость имеет и свое историческое подтверждение) только способствовала его славе и увеличила число приглашений. Землянников приезжает в черной пролетке на назначенные встречи, пьет шампанское и рассказывает о венском великосветском обществе с нескрываемой симпатией и некоторой ностальгией, затем, ровно в десять, покидает общество полупьяных дам и садится в пролетку. Никогда не получили доказательства обоснованные подозрения, что у Землянникова есть незаконная жена (а кто-то говорил,

что и ребенок) из высшего света, подозрения, которые, похоже, он и сам подпитывал своими регулярными и стремительными уходами ровно в десять. Многие, однако, считали это частью его экстравагантности, особенно после известной выходки, когда он покинул салон Герасимовых в тот момент, когда Ольга Михайловна исполняла какую-то свою арию; Землянников посмотрел на свои серебряные карманные часы и, к всеобщему изумлению, ушел с концерта, не дождавшись окончания номера.

Внезапные и стремительные исчезновения Землянникова из светской жизни петроградских салонов никого не удивляли: было известно, что Землянников по должности главного инженера часто ездит за границу; обязанность, которая попутно сопровождалась возможностью обновить свой гардероб, дополнив его каким-нибудь модным аксессуаром и привезти, вместе с уместным сувениром, и какой-нибудь новый рассказ о светской жизни за пределами России. Поэтому его отсутствие на одном известном рауте осенью 1913-го могло вызвать только сожаление, тем более, что Землянников подтвердил телеграммой, что будет. Но в этот раз его не было несколько дольше, и уже с полным основанием можно было счесть присутствие Землянникова в петроградских салонах всего лишь короткой сезонной историей, одной из тех, что пользуются славой скорого забвения. (Его место занял один красивый молодой кадет, который приносил свежие придворные сплетни, из непосредственного окружения Распутина, и который, в отличие от Землянникова, не был обременен никакими обязательствами и мог развлекать обще-

ство до утренней зари). Тем сильнее было изумление, когда та самая Марья Григорьевна Попко, которая, похоже, любила объезжать город в экипаже, как какая-нибудь королева, увидела на улице Столпинской, среди промерзших и оголодавших арестантов, подметавших улицу, одно лицо, которое ей показалось знакомым. Она подошла к этому человеку и вложила ему в руки милостыню; без сомнения, это был Землянников.

Так дух инженера Землянникова вновь вернулся в салоны и на мгновение грозил затмить славу Распутина. Оказалось нетрудным установить некоторые факты: Землянников использовал свои частые поездки за границу в совершенно нелояльных целях; после его последнего возвращения из Берлина в черных кожаных чемоданах под шелковыми сорочками и дорогими костюмами на границе жандармами было обнаружено около пятидесяти браунингов германского производства. Но то, чего Марья Григорьевна не могла знать, и для чего потребовалось два десятка лет ожидания (то есть, до снятия грифа «Секретно» с архивов Охранки, украденных послом Малаковым), вызывает гораздо больше недоумения: оказывается, Землянников был организатором и одним из участников широко известной «экспроприации» почтового фургона, когда несколько миллионов рублей попало в руки революционеров; что, кроме конфискованных браунингов, он трижды провозил в Россию взрывчатку и оружие; будучи редактором *Восточной зари*, печатавшейся на папиросной бумаге в подпольной типографии, лично возил в своих черных чемоданах каучуковые матрицы, очень неудобные в обращении; а громкие покушения последних пяти-шести

лет были его рук делом: эти покушения можно отличить от всех других – бомбы, изготовленные в тайной мастерской Землянникова, обладали такой смертоносной силой, что свои тщательно выбранные жертвы превращали в кучу кровавой плоти и переломанных костей; из-за вызывающего поведения (без сомнения, притворного) был ненавидим рабочими, ему подчиненными; по его собственному признанию, он мечтал создать бомбу размером с грецкий орех и огромной разрушительной силы (идеал, к которому, говорят, он опасно приблизился); полиция после покушения на губернатора фон Лауница считала, что его нет в живых; три свидетеля подтвердили, что голова в емкости со спиртом – это голова Землянникова (нужно было, чтобы появился демонический Азеф, чтобы установить, что голова в спирте, уже немного сморщенная, не идентична «ассирийскому черепу» Землянникова); что он дважды бежал из тюрьмы: первый раз, пробив с сокамерниками стену, а второй раз во время мытья, в одежде надзирателя, который остался голым; что после последнего ареста пробрался через границу в еврейском возке по известному Вилкомирскому контрабандистскому тракту, переодевшись разъездным торговцем; что жил по фальшивому паспорту на имя М.В. Землянникова, а что его настоящее имя было Борис Давидович Меламуд или же Б.Д. Новский.

После обнаружения одной очевидной лакуны в использованных нами источниках, (мы не будем ими обременять читателя, чтобы он оставался в приятном заблуждении, что речь идет о рассказе, который, к счастью для писателя, уравнивается с силой фантазии), мы

обнаруживаем его в сумасшедшем доме в Малиновске, среди тяжелых и опасных больных; переодевшись гимназистом, он на велосипеде сбегает в Батум. Вне всякого сомнения, сумасшествие было симулировано, невзирая на подписи двух авторитетных врачей: это ясно и полиции, у которых эти два врача числятся в списке симпатизирующих революционерам. Его дальнейший путь более или менее известен: однажды ранним сентябрьским утром 1913 года, на рассвете, Новский садится на корабль и, прячась в тоннах яиц, прибывает через Константинополь в Париж; здесь мы его обнаруживаем в дневное время в русской библиотеке на авеню Гоблен и в музее Гиме, где он изучает философию истории и религии, а вечерами – в «Ротонде», на Монпарнасе, с бокалом пива в руке и «в самой красивой шляпе, которую только можно было найти в то время в Париже». (Это упоминание Брюсом Локкартом шляпы, которую тогда носил Новский, не лишено, однако, политического контекста: известно, что Новский был функционером влиятельного профсоюза еврейских шляпников во Франции). После объявления войны он исчезает с Монпарнаса, и полиция находит его на виноградниках близ Монпелье в сезон сбора, с корзиной спелых гроздьев в руках: в этот раз надеть на него наручники было нетрудно. Сбежал ли Новский в Берлин или был выдворен, нам неизвестно. Известно, однако, что в то время он сотрудничает с социал-демократической *Neue Zeitung u Leipziger Volkszeitung* под псевдонимами Б.Н. Дольский, Парабеллум, Виктор Твердохлебов, Пролетарский, Н.Л. Давидович, и пишет, кроме всего прочего, свой известный очерк по книге Макса

Сипела *История производства сахара*. «Он представлял собой, – вспоминает австрийский социалист Оскар Блюм, – какую-то странную смесь безнравственности, цинизма и спонтанного энтузиазма в отношении идей, книг, музыки и человеческих существ. Я сказал бы, что он был похож на что-то среднее между профессором и преступником. Но его интеллектуальная живость не подвергалась сомнению. Этот виртуоз большевистского журнализма умел вести беседы, содержавшие не меньше *взрывчатого материала*, чем его газетные колонки». (Использованное слово подводит нас к смелому предположению, что О. Блюм мог быть знаком с секретной жизнью Новского. Если речь не идет о случайной метафоре). В Берлине, в момент объявления войны, когда рабочие, призванные под знамена, выглядели, как призраки, а в густом табачном дыму кабаре раздавался женский визг, и пока пушечное мясо пыталось утопить в пиве и шнапсе свои сомнения и свое отчаяние, Новский был единственным, кто в этом европейском сумасшедшем доме не потерял головы и видел четкую перспективу, добавляет Блюм.

Однажды светлым осенним днем, обедая в салоне известного альпийского курорта Давос, где он лечил свои расшатанные нервы и слабые легкие, и где его навещил один из членов Интернационала, по фамилии Левин, к ним подошел доктор Грюнвальд, швейцарец, ученик и друг Юнга, авторитет в своей области. Разговор идет, по свидетельству упомянутого Левина, о погоде (солнечный октябрь), о музыке (по поводу недавнего концерта какой-то пациентки), о смерти (пациентка

накануне вечером испустила свой музыкальный дух). Между мясным блюдом и компотом из айвы, которые им подавал кельнер в ливрее и в белых перчатках, доктор Грюнвальд, потеряв нить разговора, говорит своим гнусавым голосом, только чтобы прервать мучительное молчание, которое наступило на миг: «В Петербурге какая-то революция». (Пауза). Ложка в руках Левина оставилась; Новский вздрагивает, затем тянет руку к своей папиресе. Доктор Грюнвальд чувствует определенную неловкость. Стараясь придать голосу выражение полного равнодушия, Новский пытается унять дрожь: «Простите? А где вы это слышали?» Доктор Грюнвальд, как будто извиняясь, говорит, что новость увидел утром в городе, в витрине телеграфного агентства. Не дождавшись кофе, смертельно бледные Новский и Левин спешно покидают салон и отправляются в город на такси. «Я слышал, как в бреду, — записывает Левин, — журчание голосов, доносящихся из салона, и позвякивание серебряных приборов, похожее на колокольчики, и видел во мгле мир, оставшийся у нас за спиной, безнадежно тонувший в прошлом, как в мутной воде».

Некоторые свидетельства приводят нас к выводу, что Новский, захваченный волной национального воодушевления и гнева, новость о перемирии воспринял, *невзирая ни на что*, как удар. Левин говорит о нервном кризисе, а Майснер минует этот период с сочувственной торопливостью. Однако похоже, что Новский все-таки без особого сопротивления выпустил из рук свой скорострельный маузер, а в знак покаяния, говорят, сжег чертежи своих смертоносных бомб и огнеметов с радиу-

сом поражения до семидесяти метров, и перешел в ряды интернационалистов. Вскоре, неутомимого и успевающего везде и всюду, мы находим его в рядах поборников Брест-Литовского мира, раздающим пропагандистские листовки антивоенного содержания и горячо агитирующим в солдатской среде, где он стоит на ящиках с пушечными снарядами, прямой, как памятник. В этом скором и, так сказать, безболезненном преображении Новского самую большую роль, похоже, сыграла одна женщина. В хрониках революции записано ее имя: Зинаида Михайловна Майснер. Известный Лев Микулин, имевший несчастье на нее заглядываться, описывает ее словами, как будто высеченными в мраморе: «Природа ей дала все: интеллект, талант, красоту».

В феврале 1918-го мы видим его в хлебоборбных краях близ Тулы, Тамбова и Орла, на берегах Волги, в Харькове, оттуда к Москве под его надзором движутся конвои конфискованной пшеницы. В черной кожаной тужурке комиссара, в блестящих сапогах и в кожаной кепке, без знаков различия, он провожает транспорт, держа руку на маузере до тех пор, пока последняя баржа не исчезнет в туманной дали. В мае следующего года он надевает полевую форму и становится добровольцем в тылу у Деникина. Страшные взрывы на юго-западном секторе фронта, взрывы, которые происходят таинственно и внезапно, оставляя после себя бойню, выдают почерк Новского, как рукопись указывает на своего создателя. В конце сентября на торпедном катере *Спартак*, над которым вьется красное знамя, Новский отправляется в Ревель, в разведку; внезапно судно

сталкивается с мощной английской эскадрой из семи легких эсминцев, оснащенных пушками калибра 25 мм; торпедный катер разворачивается, и одним головокружительным маневром, под покровом надвигающейся ночи, ему удастся добраться до Кронштадта. Если верить свидетельству капитана Олимского, этим чудесным спасением экипаж торпедного катера скорее обязан хитрости одной женщины, Зинаиды Михайловны Майснер, чем присутствию Новского; она вела переговоры сигнальными флажками с английским флагманским кораблем.

Лишь одно письмо тех лет, написанное рукой Новского, остается единственным аутентичным свидетельством той любви, где революционная страсть и восторженные чувства сплетаются в таинственные и глубокие узы:

«... Прямо с университетской скамьи я попал в тюрьму. Меня арестовывали ровно тринадцать раз. Из двенадцати лет, последовавших после моего первого ареста, более половины я провел на каторге. Кроме того, я трижды прошел тяжелым путем изгнания, путем, который отнял у меня три года жизни. В короткие периоды моей «свободы» я словно в кинематографе наблюдал, как мимо пролетают печальные русские села, города, люди и события, а я все время спешил, на коне, на корабле, в повозке. Нет постели, в которой бы я спал больше месяца. Долгими и мучительными зимними вечерами я извешал ужас русской действительности, когда бледные фонари Васильевского острова едва мигают, а русская деревня проступает в лунном свете

некой ложной и обманчивой красотой. Единственной моей страстью было это мучительное, восторженное и таинственное ремесло революционера... Простите, Зина, и храните меня в своем сердце; это будет больно, как камень в почках».

Свадебная церемония состоялась двадцать седьмого декабря тысяча девятьсот девятнадцатого года на торпедном катере *Спартак*, ставшем на якорь в Кронштадтской бухте. Свидетельства немногочисленны и противоречивы. По одним источникам, Зинаида Михайловна, смертельно бледная, «бледностью, венчающей смерть и красоту» (Микулин), и скорее похожая на анархистку перед расстрелом, чем на музу революции, едва спасшюся от смерти. Микулин говорит о белом свадебном венке в волосах Зинаиды, этом единственном знаке старых времен и обычаев, а Олимский в своих воспоминаниях — о белой марле, которая *как свадебный венок* обвивала раненую голову Майснер. Тот же Олимский, который в своих воспоминаниях оказался объективнее хваленного Микулина (этот вообще, так сказать, умалчивает о личности Новского), образ политического комиссара в этот интимный момент и сам описывает весьма схематично: «Красивый, со строгим взглядом, одетый по-монашески скромно и в этот торжественный момент, он походил скорее на молодого немецкого студента, вышедшего победителем из дуэли, чем на политического комиссара, только что вышедшего из горячего боя». В остальных деталях все более или менее сходятся. Судно (все-таки) было на скорую руку украшено сигнальными флажками и освещено лампочками, красными, зелеными, синими,

красными. Экипаж, празднующий одновременно свадьбу и победу над смертью, появляется на палубе свежесвыбранным и румяным, полностью вооруженным, как для смотра. Но каблогаммы, извещавшие генеральный штаб о ходе операции и счастливом спасении, привлекли внимание офицеров Красного флота, прибывших в синих шинелях, под которые они надели белую летнюю форму. Торпедный катер их приветствовал свистком боцмана и возгласами экипажа. Запыхавшийся радиотелеграфист приносит на капитанский мостик, куда удалились молодожены, нешифрованные депеши с поздравлениями из всех советских портов от Астрахани до Энзели: «Да здравствуют молодожены. Да здравствует Красный флот. Ура храброму экипажу *Спартак*!» Ревком Кронштадта шлет в бронированном автомобиле девять ящиков французского шампанского, как говорят, днем раньше конфискованного у анархистов. Духовой оркестр кронштадтского морского гарнизона поднимается по подвижному трапу на палубу, играя марши. Из-за температуры примерно тридцать градусов ниже нуля по Цельсию инструменты звучат странно, надтреснутым звуком, как будто они сделаны из льда. Вокруг мечутся моторные лодки и патрульные катера, приветствуя экипаж сигналами. Строгие тройки чекистов с обнаженными револьверами три раза поднимаются на палубу, требуя, чтобы празднование прекратили по соображениям безопасности; три раза они возвращают револьверы в кобуру после упоминания имени Новского и присоединяются к офицерскому хору, выкрикивающему «Горько! Горько!» Пустые бутылки из-под шампанского летают по палубе, как пушечная картечь

калибра 25 мм. На рассвете, когда Солнце в зимней утренней дымке проглядывает заревом далекого пожара, один пьяный чекист приветствует рождение нового дня салютом из противовоздушного пулемета. Матросы лежат всюду по палубе, как мертвые, на кучах разбитого стекла, пустых бутылках, конфетти и в замерзших лужицах французского шампанского, *розового, как кровь*. (Читатель, надеюсь, узнаёт нескладную лирику Льва Микулина, ученика имажинистов).

Известно, что этот брак будет расторгнут спустя восемнадцать месяцев, и что Зинаида Михайловна во время нелегальной поездки в Европу становится спутницей советского дипломата А.Д. Карамазова. Что касается короткого брака с Новским, имеются некоторые свидетельства мучительных сцен ревности и страстных примирений. То, что Новский в приступе ревности хлестал Зинаиду Михайловну нагайкой, может быть точно так же плодом воображения другого ревнивца – Микулина. В автобиографической книге *Волна за волной* Майснер проходит по своим интимным воспоминаниям так, как будто пишет их по воде: нагайка здесь появляется только в своем историческом и метафорическом контексте, как кнут, который немилосердно хлещет по лицу русский народ.

(Зинаида Михайловна Майснер скончалась от малярии в августе 1926-го, в Персии. Ей было неполных тридцать лет).

Невозможно, как мы сказали, установить точную хронологию жизни Новского в годы гражданской войны и непосредственно после ее окончания. Известно,

что в течение 1920-го он воевал против непокорных и деспотичных эмиров в Туркестане и что он покорил их жестокостью и хитростью, их собственным оружием; что душным летом 1921-го, оставшимся в истории из-за инвазии малярийных комаров и навозных мух, слетающихся роями на кровь, он отвечал за ликвидацию бандитизма в Тамбовской губернии, и что тогда его ранили саблей или ножом, что оставило на его лице суровую печать героизма. На съезде народов Востока мы обнаруживаем его за столом президиума, с отсутствующим взглядом, с вечной папиросой в пожелтевших зубах. Его речь приветствовали аплодисментами, но один докладчик на съезде обращает внимание на отсутствие жара и потухший взгляд того, кого когда-то называли большевистским Гамлетом. Мы также знаем, что одно время он занимал должность комиссара Политуправления Кавказско-Каспийского ревкома флота, что он был членом Штаба артиллерийской секции Красной Армии, потом – дипломатом в Афганистане и Эстонии. В конце 1924-го он появляется в Лондоне в составе делегации, ведущей переговоры с вечно недоверчивыми англичанами; тогда же по собственной инициативе он устанавливает контакт с представителями трейд-юнионов, приглашающих его на следующий конгресс, который должен состояться в Халле¹.

В Казахстане, в Центре коммуникаций и связи, это его последнее место службы, о котором нам известно, говорят, он скучал и снова начал в своем кабинете чертить планы и делать расчеты; бомба размером с грец-

1 Кингстон-он-Халл, город в Англии. – Прим. перев.

кий орех и страшной поражающей силы, похоже, преследовала его до конца жизни.

Б.Д. Новский, представитель Наркомата связи, был арестован в Казахстане 23 декабря тысяча девятьсот тридцатого года в два часа ночи. Его арест был намного менее драматичным, чем впоследствии об этом стало известно на Западе. То есть, по надежному свидетельству его сестры, не было никакого вооруженного сопротивления и драки на лестнице. Новского по телефону попросили срочно явиться на работу. Голос, вне всякого сомнения, принадлежал дежурному инженеру Бутенко. При обыске, продолжавшемся до восьми утра, были изъяты все его документы, фотографии, рукописи, чертежи и планы, а также бóльшая часть его книг. Это был первый шаг к ликвидации Новского. На основании более поздних сведений, источником которых является А.Л. Рубина, сестра Новского, дело было так:

Новскому устроили очную ставку с известным Рейнхольдом, И.С. Рейнхольд, признавшийся в шпионаже в пользу англичан, по их заданию устраивал саботаж в экономике. Новский остался при своем утверждении, что его не знает и раньше никогда не видел этого несчастного человека с севшим голосом и погасшим взглядом. Через пятнадцать дней, которые были даны Новскому на размышления, его опять вызвали к следователю, где ему предложили бутерброды и папиросы. Новский отказался и попросил бумагу и ручку, чтобы написать обращение к неким высокопоставленным персонам. Ранним утром следующего дня его вывели из камеры и отправили в Суздаль. Когда тем морозным утром автомобиль с Новским прибыл на вокзал, перрон был пуст. На сосед-

нем пути стоял единственный вагон для скота, в который отвели Новского. Следователь Федюкин, высокий, рябой и непреклонный, провел тогда с Новским наедине около пяти часов (двери были заперты снаружи), пытаясь убедить его в том, что нравственный долг важнее ложного признания. Эти переговоры завершились полным фиаско. Потом последуют долгие ночи без дневного света, проведенные в одиночке суздальской тюрьмы, в сырой каменной камере, известной под названием *псарня*, главная архитектурная ценность которой состоит в том, что человек в ней оказывается заживо замурованным, и свое земное бытие воспринимает в сравнении с вечностью камня и бытия как пылинку в океане безвременья. У Новского уже пошатнулось здоровье; долгие годы каторги и революционный восторг, подпитывающийся кровью и звездами, ослабили его легкие, почки, суставы. Тело его теперь покрылось фурункулами, которые под ударами резиновых дубинок лопались и выдавливали полезную кровь вместе с вредным гноем. Но казалось, что Новский из соприкосновения с камнем своей живой гробницы извлек некие метафизические выводы, которые, без сомнения, не очень отличались от тех, что внушают мысль о том, что человек – лишь пылинка в океане безвременья; но ему, похоже, это осознание нашептало и какие-то умозаключения, которых архитекторы псарни не могли предвидеть: ничто ни за что. Человек, обнаруживший в сердце своем эту еретическую и опасную мысль о бренности бытия, вновь, однако, оказывается перед (последней) дилеммой: принять временность бытия во имя этого драгоценного и тяжело доставшегося осознания (исключающего любую нравственность, и следовательно, являющегося абсолютной свободой)

или во имя того же самого осознания пасть в объятия ничтожности.

Сломить Новского стало для Федюкина делом чести, вызовом наивысшей степени. Поскольку до сих пор за его долгую карьеру следователя ему удавалось, ломая позвоночник, сломить и волю самых упорных (поэтому ему всегда и поручали самый прочный материал), то Новский теперь стоял перед ним как своего рода научная загадка, неизвестный организм, который ведет себя непредсказуемо и нетипично по сравнению с остальной популяцией. (Нет сомнения, что в этой достойной уважения умозрительной конструкции Федюкина, с учетом его более чем скромного образования, не было ничего книжного, и поэтому от него ускользала любая связь с телеологическим умозаключением; он, наверное, чувствовал себя автором доктрины, которую формулировал совсем просто и понятно любому человеку: «И камень заговорит, если ему выбить зубы»)¹.

В ночь с 28-го на 29-е января из камеры вывели человека, который все еще носил фамилию Новский, хотя

1 Газета *Труд* опубликовала отрывки из мемуаров Федюкина под заголовком *Второй фронт* (номера за август и ноябрь 1964 г.). Этот автобиографический очерк пока охватывает только самый ранний период «тыловой деятельности» Федюкина, но, боюсь, судя по этим материалам, в которых живость практики подменяется слишком схематичными рассуждениями, что и полная публикация воспоминаний не раскроет тайну его гения: Федюкин, как мне кажется, был оторван от живой практики и ноль в теории. Он выдавливал признания, руководствуясь глубинными законами психологии, не подозревая об их существовании; то есть, он занимался человеческой душой и ее тайнами, их не зная. Но то, что уже сейчас привлекает внимание в воспоминаниях Федюкина, это описания природы: суровая красота сибирских пейзажей, восход Солнца над заледенелой тундрой, делювиальные дожди и предательские воды, что рассекают тайгу, тишина далеких озер стального цвета – все, что свидетельствует о его несомненной литературной одаренности.

теперь это была лишь пустая оболочка человеческого существа, груда гниющей и измученной плоти. В погасшем взгляде Новского можно было прочесть, как единственный знак души и жизни, решение не отступать, и последнюю страницу своей биографии написать своей волей и в полном сознании, как пишется завещание. Он эту свою мысль сформулировал вот так: «Я вступил в зрелые годы, зачем же портить себе биографию». Наверное, он понял, что это, пусть и последнее искушение, – не только заключительная страница автобиографии, которую он писал лет сорок сознательной жизни своей кровью и своим мозгом, но это, собственного говоря, итог его жития, вывод, на котором все покоится, а все прочее (а все прочее было) только побочный трактат, расчетливое действие, ценность которого мизерна по отношению к конечной формуле, придающей смысл этим побочным операциям.

Два надзирателя ведут Новского, подпирая его с двух сторон, вниз по какой-то полутемной лестнице, что круто уходила в глубину, в трехъярусный подвал тюремного здания. Помещение, куда его привели, было освещено одной голой лампочкой, свисавшей с потолка. Надзиратели его отпустили, и Новский закачался. Он слышал, как за ним затворилась железная дверь, но сначала ничего не различал, кроме света, больно врезавшегося в его сознание. Потом дверь опять отворяется, и те же надзиратели, на этот раз во главе с Федюкиным, вводят какого-то юношу и ставят его на ноги в метре перед Новским. Новский думает, что опять дело в какой-то подстроеной очной ставке, одной из многих, и упрямо сжимает беззубые челюсти, и с болез-

ненным усилием поднимает отекие веки, чтобы рассмотреть юношу. Он ожидал вновь увидеть перед собой мертвеца с погасшими глазами (каким был Рейнхольд), но с оторопью видит перед собой молодые и живые глаза, полные страха человеческого, *совершенно человеческого*. Юноша был обнажен до пояса, и Новский с изумлением и ужасом понимает, на теле юноши нет ни одного синяка, ни одной раны, кожа здоровая, смуглая, которой еще не коснулся тлен. Но то, что его больше всего удивило и испугало, это был взгляд, значение которого он не мог разгадать, эта неизвестная игра, в которую он был вовлечен, сейчас, когда он уже было подумал, что все завершилось *наилучшим образом*. Мог ли он заподозрить, что ему готовит гениальная и дьявольская интуиция Федюкина? Федюкин стоял у него за спиной, невидимый, но присутствующий, молчавший, затаивший дыхание, давая ему возможность самому догадаться, ужаснуться от той мысли, и когда сомнение, порожденное ужасом, ему шепнет, что это невозможно, в тот момент бросить ему в лицо правду, правду, что тяжелее спасительной пули, которую он мог бы выпустить ему в затылок.

Когда подозрение, порожденное ужасом, шепнуло Новскому *это невозможно*, в тот же миг послышался голос Федюкина: «Если Новский не сознается, мы тебя убьем!» Лицо юноши искажено страхом, и он падает на колени перед Федюкиным. Новский закрыл глаза, Но не мог, из-за наручников, заткнуть и уши, чтобы не слышать мольбу юноши, которая вдруг, каким-то чудом, начала разрушать прочную стену его решения, подрывать его волю. Юноша умолял его дрожащим,

сломленным голосом, признаться *ради его жизни*. Новский ясно слышал, как надзиратели передернули затворы своих пистолетов. За плотно сжатыми веками в нем одновременно с осознанием боли и предчувствия поражения появляется ненависть, потому что у него было достаточно времени подумать и понять, что Федюкин его раскусил и решил уничтожить там, где чувствует себя могущественным: в его эгоизме; потому что, если он (Новский) пришел к спасительной и опасной мысли о бессмысленности собственного существования и страдания, это по-прежнему нравственный выбор; интуитивный гений Федюкина догадался, что такая позиция свидетельствует об определенном выборе, который, в общем-то, не исключает нравственности, напротив. Револьверы, вне всякого сомнения, были с глушителями, потому что Новский едва услышал выстрелы. Когда он открыл глаза, юноша лежал перед ним в крови, с простреленным черепом.

Федюкин зря слов не тратит, он знает, что Новский его понял; делает знак надзирателям вывести Новского, и они берут его под руки. Федюкин дает ему двадцать четыре часа на раздумья в хорошо охраняемой камере, где он сможет вновь «под смертным каменным саваном»¹, прояснить свою нравственную позицию, которая демонически шепчет ему на ухо, что его биография окончательна и скруглена, без трещин, совершенна, как какая-нибудь скульптура. На завтра, в ночь

1 Фраза Льва Микулина, которой он, где-то в 1936-м, увековечил свою собственную биографию; метафора, которая оказалась менее произвольной, чем это кажется на первый взгляд: Микулин умер от сердечного приступа в одиночной камере суздальской тюрьмы. (Некоторые источники утверждают, что он был задушен).

с 29-го на 30-е января, сцена повторяется: надзиратели ведут Новского по крутой винтовой лестнице в глубокие подвалы тюрьмы. Новский с ужасом предчувствует, что это повторение неслучайно, и что это часть дьявольского плана: каждый день его жизни будет оплачен жизнью одного человека; совершенство его биографии будет разрушено, дело его жизни (*его жизнь*) будет этими последними страницами обезображено.

Режиссура Федюкина безупречна: мизансцена такая же, что и прошлой ночью, те же надзиратели, тот же Федюкин, тот же подвал, то же освещение, тот же Новский: элементы, вполне достаточные для того, чтобы некоему повторяющемуся действию придать значение идентичности и неизбежности, как неизбежна смена дня и ночи; только несколько отличен этот юноша, что, обнаженный до пояса, дрожит перед Новским (отличается от предыдущего ровно настолько, насколько отличаются друг от друга два дня, проведенные подряд в камере). Федюкин же в тишине, наступившей на мгновение в подвальной камере, догадывается, насколько сегодняшнее искушение для Новского тяжелее вчерашнего; сегодня, когда он стоит глаза в глаза с незнакомым юношей, его нравственности не остается ни крупинки надежды и прибежища в некоей мысли, которая могла бы прийти к нему на помощь, мысли, которая могла бы ему шепнуть, невзирая на известные внешние и ясные признаки, что это *невозможно*: вчерашняя демонстрация, быстрая и эффективная, показала ему, что такая мысль бесполезна, что такая мысль губительна. (И эта мысль завтра и послезавтра, и через три или через десять дней станет еще более бессмысленной, еще более невозможной).

Новскому кажется, что он откуда-то знает юношу, стоящего перед ним. У него была белая кожа, усыпанная веснушками, нездоровый цвет лица, густые темные волосы и немного раскосые глаза; наверное, он носил очки, и Новскому кажется, что на переносице видны следы от только что снятых очков. Мысль о том, что, вообще-то, этот юноша похож на него самого двадцатилетней давности, показалась ему бессмысленной, и он попытался ее отбросить, но не мог не подумать, что сходство (если оно реальное и намеренно подчеркнутое) несет в себе известную опасность для расследования Федюкина и в известном смысле может быть истолковано как ошибка и трещина в федюкинской постановке. Но и Федюкин, в свою очередь, наверное, заподозрил, если это сходство было намеренным плодом заботливой селекции, что мысль о сходстве, об идентичности, неизбежно приведет Новского к тому, чтобы заметить и существенное различие; сходство должно указать ему на тот факт, что он убивает людей, похожих на него, людей, биографии которых несут в себе потенциальное зерно будущей биографии, последовательной, скругленной, так похожей на его биографию, но прерванной в самом начале, уничтоженной по его собственной вине, так сказать, в самом начале; он своим упорным отказом сотрудничать со следствием будет стоять (уже стоит!) у истоков длинной череды преступлений, совершенных от его имени.

Новский чувствует, как за его спиной Федюкин, задержав дыхание, караулит его мысли, его решение, как ощущает и присутствие надзирателей, стоящих в стороне с взведенными револьверами, готовых совер-

шить преступление *его руками*. Голос Федюкина зазвучал мирно, без угрозы, как будто сообщая результаты некой, вполне логичной операции: «Ты умрешь, Исаевич, если Новский не признается».

Прежде, чем Новский смог что-либо произнести, что-либо придумать, подумать о позорных условиях своей капитуляции, юноша оглядел его близорукими глазами, совсем с близкого расстояния, а потом, приблизив к нему свое лицо, прошептал ему голосом, от которого Новский задрожал:

«Борис Давидович, не сдавайтесь сукиным детям!»

В тот же миг раздались два выстрела, почти одновременно, едва слышные, как будто из бутылки с шампанским вылетела пробка. Он не мог не раскрыть плотно закрытых век, чтобы убедиться в факте своего преступления: надзиратели опять стреляли почти в упор, в затылок, повернув дула в направлении черепа; лицо юноши было неузнаваемо.

Федюкин уходит из подвала, не говоря ни слова, а надзиратели уводят Новского и толкают его на каменный пол. Новский проводит кошмарные часы в своей камере с крысами.

Назавтра вечером после третьей смены надзирателей он требует, чтобы его отвели к следователю.

Той же ночью его переводят из каменной одиночки в тюремную больницу, где он, как в бреду, проводит дней десять под пристальным надзором охранников и медперсонала, получивших задание из этих достойных сожаления остатков, создать человека, достойного так называться. Федюкин, без сомнения, знает, исходя

из опыта, что даже люди, сделанные из гораздо менее прочного материала, чем Новский, приобретают какую-то неслыханную силу в момент, когда перейдены все границы, и когда встает еще только вопрос о достойной смерти: во время умирания они пытаются извлечь из смерти всю возможную пользу, приняв упрямое решение, которое чаще всего, наверное, из-за общей изможденности организма, сводится к героическому молчанию; так же, как он на практике убедился и в том факте, что запуск всех функций организма, нормальный кровоток и отсутствие болей формируют у реконвалесцентов и бывших кандидатов на смерть некий органический конформизм, следствием которого, как бы это ни выглядело парадоксально, является ослабление воли и все меньшая потребность в героических порывах.

Тем временем от обвинения Новского в принадлежности к шпионской сети, работавшей на англичан, отказались, особенно после неудавшейся очной ставки с Рейнхольдом. (Похоже, что этому изрядно поспособствовали и английские трейд-юнионы, которые подняли в европейской прессе слишком громкий шум в связи с арестом Новского и опровергли как совершенно необоснованные и бессмысленные некоторые обвинения, появившиеся тогда в официальной прессе: берлинская встреча с известным Ричардсом, который якобы подкупил Новского за тридцать сребреников, как Иуду, была опровергнута недвусмысленным алиби указанного Ричардса: он в тот день находился на заседании трейд-юнионов в Халле). Это неловкое вмешательство трейд-юнионов поставило перед следствием нелегкую задачу доказать точность

своих утверждений и тем самым спасти свой авторитет в гораздо более широком, международном плане. То есть, надо было исправить то, что можно было исправить.

Переговоры продолжаются с 8-го по 21-е февраля. Новский затягивает следствие, пытаясь в свое признание, то есть, в единственный документ, который останется после его смерти, включить некоторые формулировки, не только смягчившие бы его окончательное падение, но и шепнули бы будущему исследователю, посредством искусно сплетенных противоречий и преувеличений, что все здание этого признания зиждется на лжи, выдуманной, вне всякого сомнения, под пытками. Поэтому он с невиданной силой борется за каждое слово, за каждую формулировку. Федюкин, со своей стороны, не менее решителен и осмотрителен, выдвигает максимальные требования. Два человека долгими ночами борются с трудным текстом признания, запыхавшиеся и измученные, согнувшись в густом папиросном дыму над этими страницами, и каждый пытается запечатлеть на них часть своих страстей, своих убеждений, свое видение вещей, исходя из высших соображений. Потому что, вне всякого сомнения, Федюкину точно так же хорошо известно, как и самому Новскому (и он дает ему это понять), что все это, весь этот текст признания, составленный на десятке машинописных страниц, – самая обычная фикция, которую он сам, Федюкин, сочинял долгими ночными часами, печатая двумя пальцами, неумело и медленно (он любил все делать сам), пытаясь на основании неких допущений сделать логичные выводы. Поэтому его не интересовали ни

так называемые факты, ни так называемые характеры, а именно допущения и их логичное функционирование; его резоны, в конце концов, могут быть сведены к тем, которые были у Новского, когда, переходя от одной схемы к другой, идеальной и идеализированной, он заранее отказывался от любого допущения. Собственно, оба они, как я полагаю, так поступали по причинам, выходявшим за рамки эгоистических и узких целей: Новский боролся за то, чтобы в своей смерти, в своем падении сохранить достоинство не только своего образа, но и образа революционера вообще, а Федюкин в своей погоне за фикцией и допущениями – сохранить строгость и последовательность революционной справедливости и тех, кто разделяет эту практику; потому что лучше, чтобы пострадала так называемая правда одного-единственного человека, одного мелкого организма, чем из-за него возникнут сомнения в высших принципах и интересах. И если во время следствия Федюкин обрушивался на свои упорные жертвы, то, надо сказать, это не было прихотью психопата и кокаиниста, как кое-кто думает, а борьбой за собственные убеждения, которые он, как и его жертва, считал бескорыстными, неприкосновенными и святыми. То, что вызывало его бешенство и его безоговорочную ненависть, был именно тот болезненный эгоизм обвиняемых, их патологическая потребность доказать свою *невиновность*, свою собственную маленькую *правду*, это невротическое хождение по кругу так называемых фактов в обруче меридианов твердого черепа, а что эта их слепая правда не в состоянии встроиться в систему более высоких ценностей, высшей справедливости, которая

требует принесения жертв, и которая не считается и не должна считаться с человеческими слабостями. Поэтому любой, кто не мог принять этот простой, видный невооруженным глазом факт, что подписать признание *во имя долга* – это не только логично, но и нравственно, достойно уважения, – превращался в злейшего врага Федюкина. Дело Новского становилось для него еще большим поражением, потому что он ценил его как революционера, и еще недавно, лет десять назад, тот был для него образцом для подражания. Тогда, в вагоне для скота на запасном пути суздальского вокзала он к нему отнесся, невзирая ни на что, с должным уважением как к личности, с полным доверием, но пережил разочарование, до основания разрушившее в его глазах миф о революционере: Новский не мог понять, что его собственный эгоизм (выросший, несомненно, из лести и похвал) был в нем сильнее чувства долга.

Однажды ранним утром в конце февраля Новский возвращается в камеру, измученный, но довольный, с отредактированной рукописью своего признания, которое надо выучить наизусть. Рукопись перекроена и испещрена исправлениями, внесенными чернилами, красными, как кровь; ему кажется, что его признание настолько тяжелое, что смертной казни не избежать. Новский улыбается, или ему только кажется, что он улыбается: Федюкин осуществил его тайное намерение и подготовил заключительную главу его правдивого жизнеописания: поскольку следователи обнаружили под холодным пеплом этих бессмысленных обвинений патетику конкретной жизни и логичное завершение (невзирая ни на что) идеальной биографии.

Итак, обвинение было окончательно отредактировано 27 февраля, а процесс группы саботажников запланирован на середину марта. В начале мая, после долгой отсрочки, происходит скорое и неожиданное изменение в планах следствия. Новского, с выученным наизусть текстом, приводят на последнюю репетицию в кабинет Федюкина, который сообщает, что обвинительное заключение изменено и дает ему напечатанный на машинке текст нового обвинения. Стоя между двумя надзирателями, Новский читает текст, затем вдруг начинает вопить, или ему только кажется, что он завопил. Его утаскивают обратно на *исарню* и оставляют там на три дня с жирными крысами. Новский пытается разбить голову о каменную стену камеры; тогда на него натягивают смирительную рубашку, сотканную из прочных волокон, и отводят в больничную палату. Отойдя от припадка, вызванного, вне всякого сомнения, инъекциями морфия, Новский требует, чтобы к нему привели следователя.

Тем временем Федюкину, параллельно ведущему два дела, удастся выжать признательные показания из некоего Паресяна, который только под угрозами и поведясь на обещания (и, похоже, не без помощи рюмки-другой) подписал заявление, что лично передал Новскому деньги еще в мае 1925 г., когда они вместе работали на кабельном заводе в Новосибирске. Эти деньги, утверждал Паресян в своих показаниях, были частью регулярной ежеквартальной выплаты, которую они получали из Берлина в качестве комиссионных за выгодные сделки, устраиваемые Новским, через Паре-

сяна и Тительгейма, для некоторых иностранных фирм, в первую очередь немецких и английских. Тительгейм, инженер старой закалки и с устаревшими взглядами, с белой козлиной бородкой и в очечках, никак не может понять, зачем втягивать в свое признание и других людей, которых он даже не знает, но Федюкин нашел способ его убедить: после долгого сопротивления старый Тительгейм, решив умереть достойной смертью, услышал из соседнего помещения страшные крики и узнал голос своей единственной дочери. Получив обещание, что ее пощадят, он согласился на все условия Федюкина и, не читая, подписал протокол. (Должны были пройти годы, чтобы стала известна правда о семье Тительгеймов: в одном транзитном лагере старику почти случайно стало известно, от какой-то лагерницы по фамилии Гинзбург, что дочь была убита в тюремном подвале, когда еще шло следствие по его делу).

В середине мая устраивают очную ставку между этими двумя и Новским. Новскому кажется, что от Парсяна несет водкой; заплетающимся языком, на плохом русском, он ему в лицо излагает фантастические детали их многолетнего сотрудничества. Новский по искреннему бешенству Парсяна понимает, что Федюкин в своем искусстве выдавливать признания на этот раз достиг того идеального уровня сотрудничества, который является целью и задачей любого надлежащего следствия: Парсян, несомненно, благодаря творческому гению Федюкина, воспринял допущения как живую реальность, более реальную, чем туман фактов, и этим допущениям придал эмоциональную окраску: покаянием и ненавистью. Тительгейм, отсутствующий

духом, с взглядом, обращенным к какому-то далекому, мертвому миру, не может вспомнить подробностей из подписанного протокола, и Федюкину приходится ему строго напоминать о правилах хорошего поведения; Тительгейм постепенно припоминает суммы, приводит цифры, места и даты. Новский чувствует, что от него ускользает и последний шанс на спасение, и что Федюкин уготовил ему самую позорную из всех смертей: он умрет как уголовник, продавший свою душу, как Иуда, за тридцать сребренников. (Однако навсегда останется тайной, было ли это только частью придуманного Федюкиным плана, чтобы добиться от Новского искреннего сотрудничества, или же повторное изменение обвинительного заключения – заслуга того, кто не хотел умереть позорной смертью).

В тот вечер после очной ставки Новский вновь пытается совершить самоубийство и так спасти часть легенды. Однако недреманое око и собачий слух надзирателей улавливают какие-то подозрительные звуки, наверное, по вздоху облегчения, доносящегося из камеры умирающего: с разорванными венами Новского отводят в больничную камеру, где он упорно срывает повязки, и где его приходится кормить насильно, через зонд. (И это следующий шаг к окончательной ликвидации Новского).

Федюкин пасует перед таким упрямством и назначает Новского (на основании прежнего обвинительного заключения) руководителем группы заговорщиков. На очных ставках, по отдельности с каждым членом будущей ячейки саботажников, формируемой под руководством Федюкина, Новский, глядя в пустоту

мертвыми, астигматичными глазами, узнает в каких-то напуганных и незнакомых людях тех, с кем он «ковал дерзкие планы взорвать жизненно важные для оборонной промышленности предприятия». При этом добавляет известные детали из выученного наизусть текста сценария. Федюкин, который, наконец, обнаруживает в Новском полезного и умелого сотрудника, предоставляет его собственному интеллекту необходимость заглаживать кое-какие противоречия и нестыковки, появляющиеся в сложной фабуле обвинения. (При этом Новский использует свой многолетний опыт, приобретенный на царской каторге и в борьбе с предусмотрительными полицейскими чинами).

Мирное течение этого сотрудничества оказывается под вопросом только один-единственный раз, на очной ставке Новского с неким Рабиновичем. И.И. Рабинович был для Новского своего рода духовным ментором, в давние павлоградские дни человек, который, будучи инженером и специалистом, обнаружил у Новского талант и посвятил его в тайны изготовления взрывчатки. В отрывочных, но от того не менее блестящих заметках Новского, роль Исаака Рабиновича была многогранной: он не только давал советы и снабжал специальной (технической) литературой, но и неоднократно спасал его своим вмешательством и своим авторитетом, а также высокими денежными залогами, которые он вносил за молодого Новского (Адский эффект некоторых взрывов, которые сотрясали Петроград около 1910 года, вызвал, похоже, у старого Рабиновича обоснованные подозрения, и на некоторое время отдал его от слишком талантливого ученика). За многие

оказанные ему услуги, и из искреннего уважения Новскому удалось отплатить добром во время гражданской войны: он отбил его у ревностных чекистов, которые видели в Рабиновиче потенциального убийцу и питали глубокое недоверие к его знанию тайн взрывчатки. Но, кажется, что связь Новского и Рабиновича была, прежде всего, аффективной природы: старая история об идеализированном отце и об открытии своих тайных мечтаний в личности какого-нибудь молодого человека, в котором мы обнаруживаем свои собственные черты. Новский отказывается подписать ту часть обвинительного заключения, которая касается Рабиновича. (Однако присутствие Рабиновича в обвинении было чрезвычайно важно для следствия, с учетом его *профиля*: происхождение, национальность, среда). Тогда Федюкин прибегает к последнему средству: достает из ящика стола папку с признанием Паресяна и Тительгейма, папку, которая тем временем приросла новыми деталями и признаниями еще троих участников того, что называлось крупным хищением государственных средств: все трое называют Новского вдохновителем и сообщают подробности о его характере, где его революционный порыв сводится к беззастенчивой страсти к деньгам и обогащению, а его легендарную аскезу изображают как комическую маску и лицемерие; некоторые свидетельства касаются ранних петроградских и парижских времен Новского, с прозрачными намеками на великосветскую жизнь молодого революционера, который свои знаменитые шляпы и красные жилеты покупал, несомненно, на деньги, полученные из богатых фондов Охранки.

Новский понимает, что выбора нет. В обмен на услугу Федюкина он подписывает показания, что профессор Рабинович сотрудничал с ним в изготовлении взрывчатки; подробности о видах шрапнели и детонаторах, о взрывной мощности пороха, динамита, керосина и тринитротолуола, о способе и месте изготовления адских машин и их разрушительной мощности в определенных условиях Новский сам диктует для протокола; в обмен на это Федюкин сжигает в большой железной печи, стоящей в кабинете, на глазах у Новского, компрометирующее дело (теперь уже не нужное) о группе расхитителей и спекулянтов.

Суд над ячейкой саботажников, состоящей из двадцати человек, состоялся за закрытыми дверями в середине апреля. По свидетельству известного Снасерева, Новский, несмотря на то, что время от времени отсутствовал духом, говорил со страстью, которую свидетель приписывал высокой температуре: «... это была его лучшая политическая речь, которую я слышал», добавляет он не без злобы (явно делая намек на ложные слухи, судя по которым Новский был плохим оратором: первый, слишком ранний признак, ведущий к разрушению мифа по имени Новский). Еще один выживший участник этого процесса (Каурин) признает, что, несмотря на ужасные пытки, которым его подвергали в течение долгих месяцев следствия, он несколько не утратил своего остроумия, «которое нас всех закопало». «Когда-то это был ловкий человек, с подвижными и живыми глазами, а теперь он приволакивал ноги, щеки его ввалились, глазницы углубились, и иногда он выглядел совершенно отсутствующим; он был похож на призрак, но не

собственный. По крайней мере, до тех пор, пока не начинал говорить; тогда он опять становился дьяволом, а не человеком». Следует, однако, признать, что роль Новского в этом процессе во многом предопределили трейд-юнионы и эмигрантская пресса утверждениями о том, что за фигурантами этого процесса скрываются провокаторы, не имеющие ничего общего с революционерами; Новский же убийственную мощь своего ораторского искусства направил именно туда, пытаясь в приступе искреннего гнева опровергнуть те аргументы меньшевиков и трейд-юнионов, которые могли бы свести его биографию и его конец именно к тому, чего он больше всего опасался, и из-за чего все эти месяцы вел кровавую борьбу не на жизнь, а на смерть.

Государственный обвинитель В.Н. Криченко, мастер своего дела, потребовал для пятерых обвиняемых самого сурового наказания, но, к всеобщему изумлению, как говорит Каурин, в своем заключительном слове не стал «поливать Новского грязью». (Я склонен ему поверить, что роль Новского в этом процессе была оплачена такой ценой). Известным образом он признал в нем крупную личность, сохранившую до конца свою цельность, несмотря ни на что (что доказывает его искреннее сотрудничество со следствием), и даже назвал его «старым революционером», подчеркнув, что Новский всегда был фанатиком своих идей и убеждений, которые в недобрый час поставил на службу контрреволюции и международному заговору буржуазии; Криченко пытался найти научное объяснение этому нравственному отклонению и обнаружил его в мелкобуржуазном происхождении обвиняемого, а также

в губительном влиянии частых поездок на Запад, где он больше интересовался околослужебными сплетнями, чем политикой. Старый Рабинович в колымской больнице, где он лежал с цингой и полуслепой, рассказал доктору Таубе о своей встрече с Новским в коридоре суда после окончания процесса. «Борис Давидович, – сказал он ему, – боюсь, вы сошли с ума. Вы нас закопаете своей plaidoyer¹». Новский ему ответил со странным выражением лица, которое было похоже на тень улыбки: «Исаак Ильич, вы должны бы знать обычаи еврейских похорон: в тот момент, когда готовятся вынести покойника из синагоги, чтобы отнести на кладбище, один из прислужников Яхве наклоняется над ним, зовет его по имени и говорит ему громко: *Знай, что ты мертв!*» А потом на секунду остановился и добавил: «Прекрасный обычай!»

В знак благодарности, и, похоже, уверенный в том, что вырвал у смерти все, что живой человек может у смерти отнять, Новский в своем последнем слове повторяет, что его преступления заслуживают высшей меры наказания, как единственно справедливой, что решение прокурора не считает нисколько преувеличенным, и не будет подавать ходатайство о сохранении ему жизни. Поскольку он избежал скользкого узла позорной виселицы, то смерть от винтовочных залпов счел счастливой развязкой и достойным концом; наверное, он чувствовал и вне этого нравственного контекста, что некая высшая справедливость требует сложить голову от стали и свинца.

1 Защитительная речь (франц.). – Прим. перев.

Но его не убили (похоже, смерть выбрать труднее, чем жизнь): наказание изменили, и после года, проведенного на *черном хлебе*, он вновь двинулся по тяжкому пути изгнания. В начале 1934 г., под фамилией Дольский, той же самой, которую он носил во время своей последней царской каторги, мы обнаруживаем его в только что колонизированном Тургае. (Однако не стоит в этой смене фамилии искать послание в будущее, знак упрямства или вызова: кажется, Новский руководствовался, прежде всего, практическими соображениями: его известные личные документы все еще были на эту фамилию). В тот же год он получает разрешение властей поселиться в еще более захолустном Актюбинске, где, окруженный недоверчивыми колонистами, он работает в каком-то сельскохозяйственном имении, выращивающем сахарную свеклу. В декабре месяце его сестра получает разрешение его посетить и застаёт больным: Новский жалуется на боли в почках. В это время у него уже зубные протезы из нержавеющей стали. (Трудно сказать, выбили ли ему зубы на следствии, как утверждает доктор Таубе). Новский отказывается от ее требования попытаться добиться у властей разрешения на переезд в Москву: он не хотел смотреть людям в глаза. «Он ожидал смерти в ранние утренние часы, – записывает она, – которые совпадали со временем его ареста: тогда он застывал, глаза его стекленели, он смотрел на дверь, которую, однако, не запирали на ключ. После трех часов брал в руки гитару и тихо напевал совершенно непонятные песни. У него были слуховые галлюцинации, он слышал голоса и шаги в коридоре». (В те годы в Москве пересказывали такую историю: «Что подели-

вает наш Новский? – Пьет чай со смородиновым вареньем и играет на гитаре «Интернационал». Но под сурдинку», – добавляет к этому злобный сплетник).

Известно, что страшной зимой 1937 г. Новский вновь был арестован и увезен в неизвестном направлении. Год спустя его следы обнаруживаются на далекой Инсульме. На последнем письме, написанном его рукой, стоит штамп Кеми близ Соловецких островов.

Продолжением и окончанием повести о Новском мы обязаны Карлу Фридриховичу (который по ошибке называет его Подольский вместо Дольский); место действия: далекий ледяной Север, Норильск.

Новский исчезает из лагеря таинственным и необъяснимым образом, наверное, во время одной из тех страшных бурь, когда охранники на вышках, оружие и немецкие овчарки одинаково беспомощны. Подождав, пока не стихнет *пурга*, за беглецом пускаются в погоню, ведомые кровожадным инстинктом своих псов. Три дня заключенные в бараках напрасно ожидают приказа *вон!*; три дня свирепые и взмыленные волкодавы вырываются из стальных ошейников, утягивая за собой утомленных преследователей по глубоким снежным заносам. На четвертый день какой-то охранник обнаруживает его рядом с доменным цехом, заросшего бородой и похожего на призрак. Он греется у большого котла, в котором отстаивается жидкий шлам. Его окружают и спускают волкодавов. Привлеченные рычанием псов, преследователи вбегают в котельную: беглец стоял на лестнице над котлом, освещенный пламенем. Один усердный охранник начинает подниматься по

лестнице. Когда он к нему приблизился, беглец прыгнул в кипящую жидкую массу, и охранники увидели, как он исчез у них на глазах, как взвился столбом дыма, недоступный для приказов, свободный от володавов, от холода, од жары, от наказания и покаяния.

Этот смелый человек умер 27 ноября 1937 г., в четыре часа пополудни. Он оставил после себя несколько папирос и зубную щетку.

В конце 1956 г. лондонская *Таймс*, которая, похоже, по старой доброй английской традиции, еще верит в духов, сообщила, что Новского видели в Москве, рядом с кремлевскими стенами. Очевидцы узнали его по стальным зубам. Эту новость распространила вся западная пресса, жадная до сплетен и сенсаций.

Псы и книги

Филипу Давиду

В 1330 году от Рождества Христова, 23 дня XII месяца бдительных ушей Преподобного Отца во Христе монсеньора Жака, милостью Божией епископа Памье, достигла весть, что Барух Давид Нойман, в прошлом иудей, беженец из Германии, оставил слепоту и вероломство иудаизма и склонился к Христовой вере; что он принял таинство святого крещения в городе Тулузе во время гонений, устроенных преданными вере Пастырями, и что потом, «как пес, возвращающийся к блевоте своей», названный Барух Давид Нойман воспользовался случаем, поскольку в городе Памье проживал и далее по иудейски с другими евреями, чтобы вернуться в богомерзкую секту и к обычаям иудейским, и названный монсеньор епископ приказывает его схватить и бросить в темницу.

Потом он приказывает его к себе привести, и тот является перед монсеньором в Большой епископской палате, которая левым крылом примыкает к камере пыток. Монсеньор Жак приказывает провести названного Баруха через это помещение, чтобы напомнить тому об инструментах, которые Господь милосердно дал нам в руки ради службы Его Святой Вере и для спасения души человеческой.

У монсеньора Жака имелся за столом помощник, брат Жеярд из Ла Помьера, легат Инквизитора Каркас-

сона, а присутствовали еще магистр Бернар Фесесье, балыи города Памье, и магистр Давид Трохас, еврей, приглашенный, чтобы быть толмачом монсеньору епископу, если Барух дерзнет толковать догму и законы, потому что он был известным знатоком Ветхого Завета, иудейских законов и дьявольской книги¹.

Монсеньор Жак, стало быть, начинает его допрашивать обо всем вышесказанном, а еврей клянется ему на Моисеевом Законе, что будет говорить только

1 «Дьявольская книга» – это только одно из самых известных метафорических названий не менее известного *Талмуда*. Аппо Domini 1320 папа Иоанн XXII приказывает каждый экземпляр этой еретической книги конфисковать и сжечь на костре; известно, что в то время на всем христианском архипелаге солдаты на таможенных пропускных пунктах обыскивали еврейские караваны, перетряхивали контрабандный товар, шелка, кожи и пряности, не обращая на них внимания (разве что, из личной корысти), а псы святого Бернарда, с обонянием, чувствительным к «дьявольской рукописи», обнюхивали засаленные кафтаны бородатых торговцев и совали носы под юбки напуганных женщин, до тех пор, пока не вызвали тяжелую эпидемию бешенства и не начали кусать христианских торговцев и опять же совать носы под плащи невинных паломников, а также под облачение священников и монахинь, провозивших контрабандой вяленую рыбу и камамбер из Каталонии, известного в народе под названием “*crotte de diable*”, дьявольский помет. Однако гонения на *Талмуд* не прекратились; Бернар Жий, по прозвищу «Железный», только в течение 1336 года конфисковал и сжег на костре две повозки, груженные этой одиозной книгой; тогда как прежнее и последующее воздействие *Талмуда*, к сожалению, осталось неизвестно современному исследователю. Этот Жан Жий, «Железный», *en Fer* (что некоторые его противники, руководствуясь, разумеется, звуковыми ассоциациями и завистью, произносили, и даже писали, как *Enfer*, ад) проявил себя слишком ревностно, и кроме *Талмуда* начал сжигать и другие книги, не входивших в официальный папский индекс, и людей, и одно время подвергался давлению клира, который его сильно боялся, но он действовал по папским и Божьим инструкциям. Известно, что Жан Жий «Железный» из этой кровавой борьбы вышел победителем, и что большинство его противников закончило на костре. Умер он, как говорят, полусумасшедшим, в своей монашеской келье, в окружении книг и псов.

правду, в первую очередь о себе, но и о других, живых и мертвых, на которых он будет ссылаться как на свидетелей.

Когда это было сделано, он говорит и признаётся, как следует ниже:

В этом году (в прошлый четверг сравнялся ровно месяц) честные Пастыри прибыли в Гренаду, вооруженные длинными ножами, копьями и дубинками, с крестами из власяницы, нашитыми на одежду, неся повстанческие знамена и угрожая истребить всех евреев. Тогда Саломон Видас, молодой еврей, находит гренадского предводителя, вместе с евреем Элизаром, его писарем, и спрашивает его, как он мне позже рассказывал, может ли он защитить его от честных Пастырей. Тот говорит, что мог бы. А эти всё прибывают и прибывают, и начинают обыскивать и дома христиан и знатных горожан, тот говорит Саломону, что больше не может его охранять и советует ему нанять какое-нибудь судно на Гаронне и плыть в Верден, где находится большой и хорошо укрепленный замок, принадлежащий его другу. Саломон, стало быть, нанимает судно и начинает спускаться вниз по течению Гаронны к Вердену. Но как только Пастыри увидели его с берега, добыли и они лодку и весла, вытащили его из воды и отвезли связанного в Гренаду, сказав ему: или он сейчас же крестится, или будет убит. Предводитель, наблюдая за всем этим с берега, держа ладонь надо лбом, приближается к этим и говорит им: если они убьют Саломона, это будет так, как если бы ему самому отрубили голову. Тогда эти говорят, что если так, они исполнят его желание. Услышав все это, Саломон говорит, что не хочет, чтобы

судья как-то пострадал из-за него, и просит Пастырей сказать, чего они от него хотят. Они ему повторяют: или он крестится, или будет убит. Этот самый Саломон заявляет, что лучше ему креститься, чем быть убитым. Они его тогда сразу окрестили в мутной воде Гаронны, вместе с писарем Элизаром, потому что с ними был какой-то молодой священник, который, без сомнения, во всем этом разбирался. А потом две порядочные женщины нашили им на одежду кресты из власяницы и дали им уйти.

На следующий день эти самые Саломон и Элизар нашли меня в Тулузе, рассказали мне все, что с ними случилось, и сказали мне, что они крестились, но не по своей воле, и, если бы было можно, то они бы с радостью вернулись в лоно своей веры. И еще они мне сказали: если им Иегова однажды в милости своей раскроет глаза и укажет им, что новые законы лучше старых, что душа в лоне новой веры совершает меньше грехов по отношению к людям и зверям, то тогда они окрестятся по своей воле и искренне. Тогда я ответил, что не знаю, что им посоветовать; может быть, они могли бы, сказал я им, вернуться в лоно иудейства, если им освободят душу законы христианские, и что спрошу об этом брата Раймона Ленака, помощника монсеньора Инквизитора Тулузского: он, разумеется, мог бы дать им совет и даровать прощение. Зашел я, стало быть, вместе с Бонне, одним евреем из Ажена, к упомянутому брату Раймону и к адвокату Жаку Маркесу, поверенному монсеньора Инквизитора Тулузского, и рассказал им о невзгодах, постигших Саломона, и спросил их, действительно ли крещение без желания и против воли того, кого крести-

ли, и действительна ли вера, принятая только из страха за свою жизнь. Они мне сказали, что такое крещение недействительно. Тогда я сразу пошел к Саломону и Элизару и сказал им, что брат Раймон и адвокат Жак передают, что их крещение не имеет силы истинной веры, и что они, стало быть, могут вернуться в веру Моисееву. Саломон тогда вручает свою судьбу в руки монсеньора прево города Тулузы, чтобы он ему достал заключение римской Курии о действительности этого крещения, потому что упомянутый Саломон боялся, что его возвращение в иудейство могло быть расценено как признак двуличия.

Когда все это было сделано, Саломон и Элизар возвращаются в веру Моисееву, но по талмудической доктрине: стригут им ногти на руках и ногах, бреют им головы, а все тело омывают в воде из источника, тем же порядком, как по Законам очищается тело и душа чужестранки, выходящей замуж за еврея.

На следующей неделе господин Алоде, заместитель прево города Тулузы, пригоняет двадцать четыре повозки граждан и Пастырей, которых он арестовал из-за резни, учиненной ими в Кастельсарразене и окрестностях, когда они убили сто пятьдесят два еврея разного возраста. Когда повозки с указанными людьми прибыли к графскому замку Нарбонн, и когда двадцать повозок уже въехали в ворота, налетает большая толпа тулузцев. Те, что были в последних повозках, начинают звать на помощь, кричать, что, вот, их везут в темницу, а они никакого греха не совершили, но только хотели отомстить за кровь Христа, что вызывает к мести с небес. Тогда тулузцы, воодушевленные чувством вершащейся

несправедливости, разрезав ножами веревки, которыми были связаны мстители, вытаскивают их из повозок и начинают орать во все горло вместе с ними: «Смерть евреям!» и устремляются в еврейский квартал. Я был занят чтением и письмом, когда в мою комнату ввалилось много этих людей, вооруженных невежеством, тупым, как дубина, и ненавистью, острой, как нож. То не были мои шелка, что им застили налитые кровью глаза, а мои книги, стоящие на полках; шелка они запрятали под свои плащи, а книги побросали на пол и стали топтать их ногами и рвать у меня на глазах. А книги те были в кожаных переплетах, помечены номерами, написаны они были учеными людьми, и в них были, захоти они их прочесть, тысячи причин убить меня на месте, и были в них, захоти они их прочесть, лекарства и бальзамы для исцеления их от ненависти. И сказал я им, чтобы они не рвали книги, потому что много книг – это не опасно, потому чтение многих книг ведет к мудрости, а чтение одной-единственной – к невежеству, вооруженному неистовством и ненавистью. А они сказали, что в Новом Завете все написано, и что в нем находятся все книги всех времен; то, что в нем сказано, содержат все другие книги, а если есть что-то в других книгах, чего нет в этой Единственной, то те другие тем более надо сжечь, потому что они еретические. И сказали они еще, что им советы ученых людей не нужны, и закричали: «Окрестись, или мудрость всех книг, которые ты прочел, мы выбьем тебе через затылок».

Узрев слепое бешенство этих людей и увидев, что они на моих глазах убивают евреев, отказавшихся креститься (кто, следуя своим убеждениям, а кто из гор-

дости, которая иной раз бывает губительна), я ответил, что пусть меня окрестят, потому что, *несмотря ни на что* временное страдание бытия ценнее окончательной пустоты тлена. Тогда они меня схватили и вытолкали из дома, не позволив переодеться из домашней одежды во что-то более подобающее, и, как есть, отвели меня в собор Святого Этьена. Когда я подошел к церкви, то два священника показали мне трупы евреев, лежащие вокруг; их тела были изуродованы, а лица залиты кровью. Потом они указали мне на камень, лежащий перед церковью, и я узрел сцену, от которой и сам застыл: на камне лежало сердце, похожее на кровавый шар. «Посмотри, – сказали мне, – это сердце одного из тех, кто не дал себя окрестить». Вокруг сердца собралась толпа народу и смотрела на него с изумлением и отвращением. Когда я закрыл глаза, чтобы не видеть, кто-то из присутствующих ударил меня по голове, камнем или дубинкой, и ускорил мое решение, и я сказал, что буду креститься, но у меня есть один друг, священник, брат Жан по прозвищу Тевтонец, и я хотел бы, чтобы он стал моим крестным отцом. Сказал в надежде, что, если я попаду в руки брата Жана, который был моим большим другом, и с которым мы, бывало, вели долгие беседы по вопросам веры, то, может быть, он мог бы спасти меня от смерти без крещения.

Тогда те двое молодых священников договорились, что выведут меня из церкви и проводят до дома Жана Тевтонца, потому что тот занимал более высокое положение, и они боялись нанести ему оскорбление. Когда мы вышли из церкви, я почувствовал запах дыма и увидел языки пламени, поднимавшиеся над еврейс-

ким кварталом. Тогда у меня на глазах зарезали еврея Ашера, юношу лет двадцати, и сказали мне: «Он ссылался на твое Учение и на твой пример». И сказали мне еще, указав мне на другого юношу, о котором я позже слышал, что он из Тараскона: «Твое промедление убивает тех, кто верил в твое Учение, и следует твоему примеру». Тогда те, кто держал, отпустили его, и юноша упал лицом ко мне, и я еще ничего не успел сказать, как они нанесли ему смертельный удар в спину. Горожане Тулузы, что сбежались к церкви и наблюдали эту сцену, спросили обоих священников, меня сопровождавших, окрещен ли я уже, а они сказали, что нет; я их еще раньше просил, выйдя из церкви, что, если по дороге их кто-нибудь об этом спросит, пусть скажут, что да, но они отказались. Потом кто-то из толпы опять меня ударил дубиной по голове, мне показалось, что от этого удара у меня глаза вылезли на лоб; я потрогал это место рукой, но крови не было, только вскочила шишка, которая прошла сама по себе, без помощи какой-либо медицины, повязки или целебного бальзама. Увидев, что и дальше убивают евреев, и услышав их причитания, а поскольку два священника сказали мне, что не могут меня защитить от гнева толпы или отвести меня в дом указанного исповедника, потому что я буду убит прежде, чем мы дойдем до той улицы, я попросил их о совете. Они мне сказали: «Иди по дороге, по которой мы все идем, и мы подадим тебе руку»; и еще они мне сказали: «Не ищи других путей, кроме тех, по которым идут все». И еще они мне сказали: «Следуя твоему примеру, многие избегнут смерти». Тогда я ответил: «Вернемся в церковь».

И тогда мы вернулись в церковь, в которой, потрескивая, горели свечи, а народ с руками, еще обогранными кровью, стоял на коленях, бормоча молитвы. Тогда я сказал своим стражам, что подождем еще немного, я посмотрю, не придут ли мои сыновья¹. Они подождали немного, и, поскольку мои сыновья не пришли, то сказали мне, что больше ждать не могут, а мне предстоит окончательно решить: или же меня крестят, или я выхожу из церкви на площадь, где еще убивали нерешительных.

Тогда я сказал, что хотел бы иметь крестным отцом тулузского викария, имея при этом в виду Пьера де Савардена, одного из моих добрых друзей, и который мог, стало быть, спасти меня от смерти и крещения. А они мне тогда сказали, что викарий не может прийти, потому что именно в тот день он привел Пастырей из Кастельсарразена, и, стало быть, отдыхает после долгой дороги. Некоторые из тех, коленопреклоненных в церкви, поднялись и схватили меня со всех сторон, и приволокли к каменной крестильной купели; но, прежде чем они насильно окунули мою голову в воду, мне удалось выговорить слово «викарий», а потом я больше ничего не мог сказать, потому что меня долго держали и не давали поднять головы, и я думал, что меня уто-

1 Один из современных комментаторов (Дивернуа) в связи с этой фразой приводит следующее объяснение: «Хотя архивы не дают нам никаких сведений об этом, мы склонны интерпретировать заявление Баруха не только как попытку отсрочить мучительную и унижительную сцену крещения, но и как хитрость и часть тактики: если бы его сыновьям удалось избежать крещения, то для ученого Баруха это стало бы достаточным основанием, чтобы они его не презирали; если же они погублены, то его решение будет усилено болью, а смерть станет своего рода искуплением».

пят, как пса, в освященной воде. А потом меня привели к каменным ступеням и поставили на колени рядом с коленопреклоненными; я не знаю, сколько их было, и кто они все были, потому что я никому не смотрел в глаза, держа голову склоненной к камню. Священник тогда проделал (по крайней мере, я так думаю) все, что положено делать при обряде крещения. Однако прежде чем он начал читать то, что положено при обряде крещения, один из тех двоих монахов наклонился ко мне и прошептал на ухо, чтобы я сказал, что я принимаю крещение по своей воле, иначе буду убит. Тогда, стало быть, я подтвердил, что все, что я делаю, делаю по доброй воле, хотя думал обратное. Нарекли меня именем Иоганн или Жан, а те, что стояли на коленях рядом со мной, поднялись и удалились.

Когда все это было сделано, я сказал тем двум монахам, чтобы они проводили меня до дома, дабы посмотреть, уцелело ли что-нибудь из моего имущества; они мне ответили, что не могут пойти со мной, потому что устали и вспотели, а отвели меня к себе, и мы пили вино из их подвала, в честь моего крещения; я пил вино молча, и я не хотел разговаривать с ними о делах веры, хотя они меня провоцировали. Потом они все-таки проводили меня до дома, посмотреть, осталось ли что-нибудь, и мы нашли мои книги, изорванные и обгоревшие, мои деньги были украдены, и еще семь штук шелковой мануфактуры, из которых некоторые были в залоге, а некоторые моя личная собственность, и еще покрывало мавританского шелка. Монах, что с недавних пор назывался моим крестным отцом, сложил ткани в один мешок. Когда мы выходили, то застали у дома

какого-то служащего мэрии Тулузы, которого мой свежеиспеченный «кум» знал, и он был вооружен, и ему вменили в обязанность защитить оставшихся в живых евреев. Мой «крестный отец», стало быть, говорит этому стражнику или человеку: «Этот крещен, и он добрый христианин». Стражник подал мне знак кивком головы, и я осторожно к нему приблизился. «Хочешь ли ты быть добрым *иудеем*?» – спросил он меня шепотом. Я ему ответил: «Да». А тогда он мне говорит: «А есть ли у тебя для этого достаточно денег?» – «Нет, – сказал я, – но возьмите вот это», – и отдал ему мешок, в который мы сложили то, о чем я только что сказал. Он передал мешок одному из своих людей, а мне говорит: «Очень хорошо, ничего не бойся; если тебя спросят, скажи, что ты добрый христианин, и так ты спасешь свою голову».

Когда мы с моим «крестным отцом» вышли на улицу, то встретили десять городских служащих в сопровождении множества вооруженных стражников. Один из служащих отозвал меня в сторонку и спросил меня шепотом: «Ты еврей?», и я ему ответил, что да, шепотом, так, чтобы монах меня не слышал. Этот служащий мэрии говорит монаху, чтобы он меня отпустил, и он передает меня одному вооруженному человеку в чине сержанта, наказав ему охранять меня, как его самого, и это именем мэрии и городских властей. Тогда сержант взял меня под руку. Когда мы были поблизости от Капитула, я сказал тем, что меня спрашивали, не еврей ли я, но когда мы были на печально известных узких улицах, сержанта спросили, не еврей ли я, который не хотел креститься, то он им по моему совету отвечал, что я крещен и добрый христианин.

Убийства и грабежи евреев продолжались до позднего вечера того дня; город был освещен пламенем, а псы завывали со всех сторон. Вечером, когда мне показалось, что народ убрался с улиц, я сказал сержанту, потому что совесть моя была нечиста, что надо пойти к викарию тулузскому и спросить его, действительно ли крещение, принятое под страхом смерти или нет. Когда мы пришли к викарию, он как раз ужинал, и сержант говорит от моего имени: «Вот, я вам привел еврея, который хотел бы, чтобы его крестили вы лично». А тот отвечает: «Мы сейчас ужинаем, садитесь с нами за стол». Поскольку я не хотел и не мог есть, то начал рассматривать гостей за столом и увидел среди их множества моего друга Пьера де Савардена. Я подал ему знак, и мы уединились, и я сказал ему, что у меня нет намерения креститься, и пусть он скажет викарию не принуждать меня, потому что крещение будет недействительным; он сделал это для меня и шепнул викарию на ухо мои слова, а потом велел сержанту уйти, сказав, что будет сам охранять меня, и приставил ко мне другого сержанта, своего человека, которому он доверял, и с ним я отправился в замок Нарбонн, чтобы проверить, не находятся ли мои сыновья среди убитых евреев, чьи тела унесли во двор замка. Когда мы вернулись, господин викарий меня спросил: «Хочешь ли ты, чтобы тебя крестили сейчас, или подождешь до утра?» Тогда Пьер Саварден отвел его в сторонку и о чем-то с ним разговаривал по секрету. Я не знаю точно, что он ему сказал, но господин викарий на это ответил: «Разумеется, я не хочу насильно никого крестить, будь он еврей или кто-то другой!» Из этого я заключил, что

крещение, которому я был подвергнут насильно, может считаться недействительным.

Когда это было решено, я попросил совета у упомянутого Пьера Савардена: остаться ли мне в замке Нарбонн или уйти; и, поскольку мне Пьер сказал, что все евреи, нашедшие убежище в замке, так или иначе будут или крещены, или убиты, мы решили двинуться в Тулузу. Пьер дал мне три шиллинга и проводил меня до развилки дорог, главная из которых ведет к Монжискару, и наказал мне идти как можно быстрее и по дороге, если кого-нибудь встречу, говорить только по-немецки.

Поспешал я, стало быть, чтобы как можно скорее добраться до Монжискара. Когда же, наконец, там оказался и пошел через городскую площадь, откуда-то из подворотни набежала толпа людей, вооруженных дубинами и ножами, они схватили меня и спросили, еврей ли я или христианин. Тогда я спросил их, пусть они мне скажут, кто они сами, а они мне говорят: «Мы честные Пастыри на службе веры Христовой»; и еще они мне сказали: «Во имя рая небесного и рая земного, мы истребим всех, кто не идет Его путем, евреев и не евреев». И тогда я сказал им, что я не еврей, и сказал им: «Разве в рай небесный и в рай земной попадают через кровь и пламя?», а они сказали: «Достаточно только одной неверной души, чтобы нас всех лишить рая и упования, как достаточно одной паршивой овцы, чтобы запаршивело все стадо»; и еще они мне сказали: «Не лучше ли зарезать одну паршивую овцу и не допустить, чтобы запаршивело все стадо?», и закричали: «Держи его, потому что слова его смердят сомнением

и безверием», и связали мне руки и увели. А я еще спросил: «Разве у вас есть власть над людьми, чтобы располагать их свободой?», а они сказали: «Мы воины Христа, и у нас есть дозволение власти отделять чумных от здоровых, сомневающихся от верующих».

Тогда я сказал им, что вера рождается из сомнения, и сказал им, сомнение – это моя вера, и сказал им, что я еврей, понадеявшись, что они не убьют меня, потому что руки мои были связаны, а толпа разошлась, потому что этим людям не было дела до ученых диспутов и состязаний в уме, а они пошли в какие-то темные улицы, где, похоже, нашли себе новую жертву. Потом меня отвели в какой-то большой дом и спустили в просторные подвалы, где уже находилось с десятков евреев и ученый Бернардо Лупо со своей дочерью, которую называли Ла Бона за ее доброту; здесь мы в молитве провели всю ночь и весь следующий день; мы решили, что не позволим себя окрестить, а укрепимся в нашей вере. Молитву прерывали только крысы, которые всю ночь попискивали по углам и носились по подвалу, толстые и раскормленные. Наутро нас всех вывели и под охраной отправили в Мазер, а оттуда в Памье¹.

«Вы обратились в еврейскую веру в Памье или в другом месте, по форме и способом, свойственным обычаю Моисееву?»

1 В памьерском диоцезе на основании декрета Арно Дежана, инквизитора Памье, евреи имели право жить свободно; этот декрет от 2 марта 1298 г., запрещающий населению и гражданским властям обходиться с евреями «слишком строго и жестоко», только показывает, в какой мере личная позиция и гражданская смелость в тяжелые времена могут изменить судьбу, которую трусы считают неизбежной и провозглашают ее фатумом и исторической необходимостью.

«Нет. Потому что по талмудической доктрине, когда кто-то добровольно и по христианским правилам крестится, то, если желает вновь обратиться в свою старую веру, его подвергают обряду, о котором я рассказывал (состригание ногтей и волос, и омовение всего тела), потому что считается нечистым. Но, если кто-то был крещен против воли и по всем христианским правилам, насильно, тогда к упомянутому обряду не прибегают, и такое крещение считается недействительным».

«Вы говорили одному человеку, или некоторому количеству людей, крещеных под страхом смерти, что их крещение недействительно, и что они без наказания и с легким сердцем могут вновь обратиться в иудаизм?»

«Нет, кроме того, что я чуть ранее изложил по поводу Саломона и Элизара».

«Говорили ли вы одному еврею или нескольким евреям, чтобы они приняли крещение единственно для того, чтобы избежать смерти, а потом вновь обратились в иудаизм?»

«Нет».

«Вы когда-нибудь присутствовали при обряде возвращения в лоно веры Моисеевой какого-нибудь крещеного еврея?»

«Нет».

«Считаете ли вы ваше собственное крещение недействительным?»

«Да».

«Почему вы добровольно подвергаете себя опасности еретического мнения?»

«Потому что я хочу жить в мире с самим собой, а не с людьми».

«Объясните».

«Потому что я не знаю, во что верят христиане и как они верят; и, наоборот, я знаю, во что верят евреи, и почему они верят, и, поскольку я считаю, что их вера доказана Законами и Книгами Пророческими, которые я изучал как доктор теологии в течение лет двадцати, то я полагаю, стало быть, что пока не будет доказано моими Законами и моими Пророками, что вера христианская им сообразна, до тех пор я не буду верить в христианство, невзирая на безопасность, которая была бы мне обеспечена в лоне этой церкви, и пусть лучше я умру, но не оставлю свою веру».

Так начался процесс над Барухом Давидом Нойманом о христианской вере, и он был непоколебим в своих аргументах, а Благодетельный Отец во Христе Монсеньор Жак, милостью Божией епископ Памье, был бесконечно терпелив в приведении к Истине упомянутого Баруха, не жалея при том своего времени и своих сил; упомянутый еврей упрямо и упорно оставался при своих убеждениях, придерживаясь Ветхого Завета и отвергая свет христианской веры, которым Монсеньор Жак его милосердно одаривал.

Наконец 16 августа 1330 Anno Domini, упомянутый Барух был поколеблен и признал и подписал, что отрекается от еврейской веры.

После прочтения ему протокола допроса упомянутый Барух Давид Нойман, спрошенный, сделал ли он свое признание под пытками или сразу после пыток, ответил, что он свое признание сделал сразу после того, как его освободили от пыток, примерно в девять часов утра, и в тот же самый день, ближе к вечеру, он сделал это же признание, но его не отводили в камеру пыток.

Этот допрос был учинен в присутствии Монсеньора Жака, милостию Божией епископа Памье, брата Жеярда из Ла Помьера, магистра Бернарда Фесесье, магистра Давида Трохаса, еврея, и нас, Гийома Пьера Барра и Роберта де Роберкура, поверенного монсеньора Инквизитора Каркассона.

Известно, что Барух Давид Нойман являлся в этот трибунал еще два или три раза: первый раз в середине мая следующего года, когда он заявил, что после повторного чтения Закона и Пророков был поколеблен в своей вере. Последовал новый диспут об иудейских источниках; терпеливая и длительная аргументация Монсеньора Жака приводит Баруха к тому, что он вновь отрывается от иудаизма. На последнем приговоре стоит дата 20 ноября 1337 г. Однако протокол допроса не сохранился, и Дивернуа высказывает достоверное предположение, что несчастный Барух, наверное, погиб под пытками. В другом источнике говорится о некоем Барухе, который также был осужден за то же самое мыслепреступление и сожжен на костре лет на двадцать позже. Трудно предположить, что речь идет об одном и том же человеке.

Примечание

Рассказ о Барухе Давиде Ноймане – это, собственно говоря, перевод третьей главы (*Confessio Baruc olim iudei modo baptizati et postmodum reversi ad iudaismum*) реестра инквизиции, в который Жак Фурнье, будущий Папа Бенуа XII, детально и добросовестно заносил признания и свидетельства, сделанные перед его три-

буналом. Рукопись хранится в Латинском фонде Ватиканской библиотеки под порядковым номером 4030. Я сделал в тексте незначительные сокращения, а именно, в той части, где ведется дискуссия о Святой Троице, о мессианстве Христа, о Следовании Букве Закона, об отрицании некоторых утверждений Ветхого Завета. Перевод же сделан по французской версии монсеньора Жан-Мари Видаля, бывшего викария церкви Святого Луи в Риме, а также на основе версии католического толкования, сделанного преподобным Игнацием фон Дёллингером (Döllinger) и опубликованного в Мюнхене в 1890 г. С тех пор эти тексты неоднократно переиздавались с научными и полезными комментариями, в последний раз, насколько мне известно, в 1965 г. Следовательно, оригинал упомянутого протокола («красивый почерк на пергаменте, текст располагается в двух колонках, как в книгах») доходит до читателя как тройное эхо далекого голоса, голоса Баруха, а если посчитать и его голос в переводе, – то, как отзвук мысли Яхве.

Случайное и неожиданное обнаружение этого текста, открытие, которое по времени совпадает с завершением работы над повестью под названием *Гробница для Бориса Давидовича*, для меня лично имело значение озарения и чуда: аналогии с упомянутой повестью настолько очевидны, что совпадение мотивов, дат и имен я счел Божьим промыслом в творчестве, *la part de Dieu*, или же проделками дьявола, *la part de Diable*.

Твердость нравственных устоев, пролившаяся жертвенная кровь, сходство имен (Борис Давидович Новский – Барух Давид Нойман), совпадение дат ареста Новского и Нойманна (в один и тот же день рокового

месяца декабря с разницей в шесть веков 1330... 1930), все это вдруг всплыло в моем сознании как развернутая метафора классической доктрины о цикличности времен: «Кто видел настоящее, тот видел все: то, что случилось в далеком прошлом, и то, что случится в будущем» (Марк Аврелий, *Размышления*, кн. VI, 37). Полемизируя со стойками (а в еще большей степени с Ницше), Х.Л. Борхес дает такое определение их учения: «Мир время от времени бывает разрушен пламенем, в котором он возник, а затем он вновь рождается, чтобы прожить ту же историю. Вновь соединяются различные рассеянные частицы, вновь придают форму камням, деревьям, людям – и даже их достоинствам, и дням, потому что для греков нет имени существительного без содержания. Вновь новый меч и каждый – герой, вновь бессонная ночь».

В этом контексте последовательность *вариантов* не имеет большого значения; я все-таки определился в пользу последовательности духовных, а не исторических дат: повесть о Давиде Ноймане я обнаружил, как я уже сказал, после написания рассказа о Борисе Давидовиче.

Краткая биография А.А. Дармолатова (1892–1968)

В наше время, когда многие поэтические судьбы строятся по чудовищно стандартной модели эпохи, класса и среды, где судьбоносные факты жизни – неповторимая магия первого стихотворения, путешествие в экзотический Тифлис на юбилей Руставели или встреча с одноруким поэтом Нарбутом – превращаются в хронологический ряд без привкуса авантюры и крови, жизнеописание А.А. Дармолатова, вопреки известной схематичности, не лишено лирической сердцевины. Из вызывающей недоумение массы сведений проявляется голая человеческая жизнь:

Под влиянием своего отца, сельского учителя, естествоиспытателя-любителя и хронического алкоголика, Дармолатов с ранних лет вдохновлялся тайнами Природы. В их помещичьем доме (приданое матери), в Николаевском Городке, в относительной свободе жили собаки, птицы и кошки. В шесть лет ему покупают в ближайшем к ним городе, Саратове, *Атлас бабочек Европы и Средней Азии* автора Девриенна, одно из последних ценных произведений граверного искусства девятнадцатого века; в семь он ассистирует отцу, который, с лицом, испачканным кровью, подвергает вивисекции грызунов и ставит опыты на лягушках; в десять, читая романы об испано-американской войне, он становит-

ся страстным сторонником испанцев; в двенадцать лет выносит из церкви просфору, спрятав ее под языком, и выкладывает на парту перед изумленными друзьями. Над текстами Корха грезит античностью, презирая современную жизнь. То есть, ничего более классического, чем эта провинциальная среда и эта публика, воспитанная в позитивистском духе. Ничего более банального, чем это наследие, где смешиваются алкоголизм и туберкулез (по отцовской линии) с меланхолической депрессией матери, читающей французские романы. Лишь тетка, тоже с материнской стороны, Ядвига Ермаолаевна, жившая с ними под одной крышей и потихоньку погружавшаяся в деменцию, – единственная достойная уважения деталь в ранней биографии поэта.

Накануне первой революции внезапно умирает его мать, заснув над книгой Метерлинка *Жизнь пчел*, которая осталась лежать у нее на коленях, распростертая, как мертвая птица. В тот же год, оплодотворенные семенем смерти, появляются первые стихи юного Дармолатова, напечатанные в журнале *Жизнь и школа*, издававшимся саратовским кружком революционной молодежи. В 1912 году он поступает в Петербургский университет, где, по желанию отца, изучает медицину. Между девятьсот двенадцатым и пятнадцатым годами он уже печатается в столичных журналах *Образование*, *Современный мир* и в увенчанном славой *Аполлоне*. К этому периоду нам следует отнести и его знакомство с Городецким и поэтом-самоубийцей Виктором Гофманом, который, как говорит Маковский, жил как человек, а умер как поэт, застрелившись из крохотного дамского браунинга, прицелившись себе в глаз, как

какой-то лирический циклоп. Первый и, без сомнения, лучший сборник Дармолатова *Руды и кристаллы* выходит в 1915 г., в старой орфографии и с изображением Атланта на обложке. «В этом небольшом сборнике, – пишет анонимный обозреватель в журнале *Слово*, – есть что-то от мастерства Иннокентия Анненского, от юной искренности чувств в духе Баратынского, что-то от озарения, как у молодого Бунина. Но в нем нет ни настоящего жара, ни настоящего мастерства, ни искренних чувств, но и особо слабых мест».

В данном случае в мои намерения не входит более детально рассматривать особенности поэзии Дармолатова, а также углубляться в сложный механизм литературной славы. Для этого очерка не имеют также особого значения и военные приключения поэта, хотя, признаю, известные жестокие сцены в Галиции и Буковине во время Брусиловского прорыва, когда кадет Дармолатов, будучи унтер-офицером санитарной службы, обнаруживает растерзанное тело своего брата, не лишены определенной привлекательности; как не лишена очарования его берлинская эскапада или его сентиментальное приключение, завершающееся в гражданскую войну на фоне голодной и трагической России медовым месяцем в аду Кисловодска. Его поэзия, что бы о ней ни говорили критики, предлагает обилие эмпирических (поэтических) фактов, которые, как старые открытки или фотографии из потертого альбома, свидетельствуют как о путешествиях, восторгах и страстях, так и о литературной моде: благотворное влияние ветра на мраморные складки кариатид; Тиргартен с аллей отцветших лип; фонари Бранденбургских ворот; жуткие

силуэты черных лебедей; желтый отсвет солнца на мутных водах Днепра; очарование белых ночей; колдовские очи черкешенок; кинжал, вошедший до рукояти под ребро степного волка; спиральное вращение пропеллера аэроплана; крик вороны в ранних сумерках; снимок (с высоты птичьего полета) страшной панорамы опустошенного Поволжья; ползущие по золотой пшеничной прерии трактора и локомотивы; черные угольные шахты Курска; кремлевские башни в океане воздуха; пурпурный бархат театральных лож; призрачные бронзовые статуи в блеске салюта; полет балерин, сотканных из пены; величественный пожар на нефтяном танкере в порту; ужасный наркоз рифм; натюрморт с чашкой чая, серебряной ложечкой и утонувшей осой; фиолетовые глаза запряженного коня; оптимистическое гудение турбин; голова военачальника Фрунзе на операционном столе в дурманящем запахе хлороформа; голые стволы деревьев во дворе Лубянки; хриплый лай деревенских собак; удивительная гармония бетонных громад; осторожный шаг кошки по следу снегиря на снегу; кукурузные поля под заградительным огнем артиллерии; расставание влюбленных в долине Камы; военное кладбище под Севастополем...

Стихотворения, датированные 1918 и 1919 годами, не дают нам никакой возможности определить место их написания: в них всё еще происходит в космополитических пространствах души, у которой нет своей точной карты. В тысяча девятьсот двадцать первом мы обнаруживаем его в Петрограде, в мрачной роскоши прежней виллы Елисеевых, на том «Корабле Дураков», где, как пишет Ольга Форш, собралась голодающая

поэтическая братия, без источников дохода и внятной ориентации. По свидетельству Маковского, у этих птичек божьих живыми оставались только сумасшедшие глаза, излучавшие безумие. Они изо всех сил старались выглядеть живыми, говорит он, хотя невозможно было избежать впечатления, что находишься среди призраков, вопреки яркой помаде на губах женщин. Снаружи бесновалась буря, вызванная магнитными полюсами революции-контрреволюции; ценой безумной храбрости большевиков Бухара пала и вновь оказалась в их руках; восстание кронштадтских моряков утопили в крови; рядом с вымершими поселениями бродили человеческие развалины, обессиленные женщины с гангренозными ногами и дети с раздутыми животами; когда были съедены отощавшие лошади, собаки, кошки, крысы, варварский каннибализм вышел на уровень обыденного права. «С кем мы, Серапионовы братья?» – восклицает Лев Лунц. «Мы за старцем Серапионом!» Крученных, если его спросить, то он за *заумь*: «Заумь пробуждает и придает свободный полет творческой фантазии, но не оскорбляет ничем конкретным». «Мы предоставляем нашим товарищам, поэтам, полную свободу в выборе творческого метода, но при условии...», – добавляют из группы «Кузница». (Принято единогласно с одним воздержавшимся от голосования).

На фотографии того периода Дармолатов пока еще выглядит как петроградский щеголь с пластронным и галстуком-бабочкой. Ввалившиеся щеки, «глаза, смотрящие на развалины Рима», с острым подбородком, разделенным ямкой, похожей на шрам, со стиснутыми губами, – его лицо не выдает ничего и похоже

на каменную маску. Есть надежные свидетельства, что молодой Дармолатов в то время уже склонился к космополитической программе акмеистов, к той «тоске по европейской культуре», благодаря влиянию другого поэта, Мандельштама; «они в равной степени ценили Рим, Анненского и Гумилева, и с одинаково истерической жадностью поедали сласти».

Однажды душным августовским вечером того же двадцать первого года уже упомянутая Ольга Форш назвала оргию на вилле Елисеевых с типичным для женщин преувеличением «пиром во время чумы». Дежурным блюдом в те годы была соленая рыба, к которой наливали кошмарную водку-самогон, приготовленную по каким-то алхимическим рецептам из спирта, березовой коры и перца. «Кассандра» (Анна Андреевна Ахматова) в тот вечер поведала об одном из своих пророческих предчувствий, и из состояния восторга вдруг впала в болезненную депрессию, граничившую с галлюцинациями. Кто принес весть о казни, которой подвергся «мастер» (Гумилев), неизвестно. С некоторой достоверностью можно говорить только о том, что это известие пронеслось как маленькая, локальная магнитная буря над всеми антагонистическими группами, разделенными ясными идеологическими и эстетическими программами. Дармолатов, со стаканом в руке, пьяно оскальзываясь, вышел из-за стола Кассандры и рухнул в облезлое кресло покойного Елисеева, зиявшее пустотой рядом с пролетарским писателем Дорогойченко.

В июле тысяча девятьсот тридцатого он находится в сухумском доме отдыха, где работает над переводами, которые ему по протекции Бориса Давидовича Новско-

го поручил журнал *Красная Новь*. У истоков знакомства с упомянутым Новским была одна давняя берлинская встреча, в каком-то кабаке поблизости от Тиргартена, когда молодой Дармолатов с восхищением, изумлением и страхом слушал смелые предсказания Твердохлебова, будущего комиссара Революционного комитета флота, дипломата, представителя Народного комиссариата связи и коммуникаций – Б.Д. Новского. (Новский, говорят, в относительно вегетарианские времена был у него «связным»; это слово объясняет сложную связь, которая существовала между поэтами и властью, что позволяло на основании личных симпатий и сентиментальных долгов юности смягчать суровость революционной линии; связь, во многом запутанную и полную опасностей: если могущественный покровитель впадал в немилость, то вслед за ним по смертельной наклонной плоскости скатывались все подопечные, сметаемые лавиной, вызванной воплем страдальца).

В конце декабря, через два дня после ареста Новского, дома у Дармолатова зазвонил телефон. Было ровно три часа ночи. Трубку сняла его полусонная жена, беременная татарка, высокая, с острым животом. С той стороны была слышна только наводящая ужас, леденящая кровь в жилах тишина. Женщина положила трубку и расплакалась. Тогда телефон в его квартире обложили цветными пуховыми подушками, с режущими глаз, кричащими декоративными мотивами и пестрым гомоном татарских торжищ, а рядом с письменным столом, заваленным рукописями, словарями и книгами, которые «ради успокоения» переводил хозяин дома, стоял приготовленный картонный чемодан с вещами на случай

внезапной *командировки*. Однажды он, осмелев от водки, даже показал какому-то поэту-доносчику этот свой чемодан: поверх теплого вязаного свитера и бумазейных кальсон лежала книга Овидиевых *Элегий* в кожаном переплете, на латыни. Наверное, в те дни стихи славного изгнанника зазвучали для него, как пушкинский *эпиграф* к его собственной поэтической судьбе.

В начале следующего года он едет в Грузию; в мае публикует поэтический цикл под названием *Тбилиси на руках*; в сентябре его включают в список писательских заявок, и он получает по ордеру, подписанному Горьким, пару брюк, пальто на вате и бобровую шапку. (Дармолатов, похоже, отказался взять эту шапку из-за ее «гетманского вида». Алексей Максимович настаивал: нечего капризничать! На основании версий, имеющих хождение, трудно заключить, что именно сказал Горький, но похоже, он как-то намекнул на горячую голову Дармолатова, и что тот «едва не умер, как чеховский чиновник»).

Семнадцатого августа тысяча девятьсот тридцать третьего года мы обнаруживаем его на корабле *И.В. Сталин* вместе со ста двадцатью писателями, которые посетили только что построенный Беломоро-Балтийский канал. Дармолатов быстро постарел и носит пушкинские бакенбарды. В белом костюме, в расстегнутой рубашке, он стоит на палубе, прислонившись к ограждению, и смотрит в пустоту. Ветер в волосах Веры Инбер. Бруно Ясенский (второй слева) поднимает руку в направлении невидимого туманного берега. Приложив ладонь к уху, Зощенко пытается расслышать мелодию лагерного оркестра. Ветер разносит звуки бурления воды, переливающейся из шлюзов.

Вопреки известным внешним признакам, имеются недвусмысленные доказательства, что у Дармолатова в то время уже наблюдались некоторые психические странности: он моет руки в спирте и в каждом подозревает доносчика; однако они к нему все равно приходят, без предупреждения и без стука, переодетые любителями поэзии в пестрых галстуках, или переводчиками с миниатюрными Эйфелевыми башнями из желтой жести, или водопроводчиками с огромными револьверами в заднем кармане вместо французского ключа.

В ноябре он попадает в больницу, где его лечат сеансами сна: он проспал в стерильном пейзаже больничных покоев полных пять недель, и с тех пор *гвалт мира* как будто бы больше не достигал его ушей. Даже страшная гавайская гитара поэта Кирсанова, завывавшая с другой стороны ширмы, теперь смягчалась ватой и тонким слоем ушной мази. Через союз писателей он получил разрешение два раза в неделю посещать городской манеж; видели, как он, такой неловкий, располневший, с первыми симптомами элифантиаза, скачет на смирном манежном коне арабской породы. Перед отъездом в Саматиху, где его ожидали арест и гибель, Мандельштам с женой заглянули к нему, чтобы попрощаться. У лифта им встретился Дармолатов в смешных галифе и с маленьким детским хлыстиком в руке. Как раз подъехало такси, и он поспешил в манеж, не простившись с товарищем своей молодости.

Летом тысяча девятьсот сорок седьмого он приезжает в Цетинье, на юбилей *Горного венца*, отрывки из которого, похоже, он переводил. Немолодой, неловкий и медлительный, тем не менее, он молодецки шагнул

за красную шелковую ленту, которая отделяла большое кресло Негоша, похожее на престол какого-нибудь бога, от поэтов и смертных. Я (я, который рассказывает эту историю) стоял в сторонке и смотрел, как елозит поэт-самозванец в высоком, аскетическом кресле Негоша, и, воспользовавшись аплодисментами, шмыгнул из зала с портретами, чтобы не стать свидетелем скандала, который будет вызван вмешательством моего дяди, смотрителя музейных сокровищ. Но я очень четко помню: между раскоряченными ногами поэта, под изношенными брюками уже набухла жуткая опухоль.

Последние годы жизни, прежде чем страшная болезнь приковала его к постели, он прожил тихо, переживая сладкий хмель молодости. Говорят, он посещал Анну Андреевну и однажды принес ей цветок.

Post scriptum

Он остался в русской литературе как медицинский феномен: случай Дармолатова вошел во все новейшие учебники патологии. Фотография его мошонки, размером с самый крупный колхозный кабачок, перепечатывается и в иностранной специальной литературе, везде, где речь идет об elephantiasis nostras), и в назидание писателям – для писательства одних только мудей недостаточно.

Об авторе

Данило Киш (22.02.1935–15.10.1989) – выдающийся югославский и сербский прозаик, поэт, драматург, эссеист. Родился в г. Суботица (Воеводина, Королевство Югославия), в семье венгерского еврея Эдуарда Киша и черногорки Милицы Драгичевич. После принятия в Венгрии в 1939 г. антиеврейских законов мать крестила Данило и его старшую сестру Даницу в православной церкви, что впоследствии спасло им жизнь. Оккупировавшая Воеводину фашистская Венгрия активно применяла эти законы, что вылилось в резню и погром в г. Нови-Сад и его окрестностях в январе 1942 г., когда были убиты и растерзаны тысячи евреев, сербов, цыган, русинов. Это событие вошло в историю под названием «Облава в Южной Бачкой» или «холодные дни». Семья Киш скрывается в северной Венгрии, но отец и большинство его родственников были угнаны в Освенцим, где и погибли в 1944 г. Погром, изгнание, потеря отца и звезда Давида стали сильнейшими впечатлениями детства, навсегда определившими все то, о чем он писал. В 1947 г. семья при помощи Красного Креста была репатрирована в Югославию, в Черногорию, к родственникам матери, где богатейшая библиотека его дяди, историка, биографа и комментатора произведений великого черногорского поэта и государственного деятеля Петра

Петровича Негоша, дала возможность познакомиться с мировой литературой и «посеяла зерно опасной любознательности». Будущий писатель оканчивает гимназию в г. Цетинье и поступает на филологический факультет Белградского университета, на только что открывшуюся кафедру сравнительно-исторического литературоведения и теории литературы. По окончании университета он продолжает постдипломное образование и в 1960 г. защищает выпускную работу «О некоторых отличиях русского и французского символизма». Еще в гимназии пробует силы в переводе с русского, венгерского и французского языков, по словам писателя, «ради стилистических и лингвистических упражнений: я готовился стать писателем и изучал ремесло». Учась в университете и сотрудничая в студенческой газете «Горизонты», становится одним из лидеров своего литературного поколения. Первым опубликованным текстом стало стихотворение «Прощание с матерью» (1953), а первыми книгами – два коротких романа под одной обложкой «Мансарда: сатирическая поэма» и «Псалом сорок четвертый» (1962). Позже при жизни писателя были опубликованы: «Сад, пепел» (1965, роман), «Ранние горести: для детей и чувствительных» (1969, рассказы), «Клепсидра» (1972, роман), «По-этика» (1972, эссе), «По-этика, книга вторая» (1974, эссе), «Гробница для Бориса Давидовича» (1976, рассказы), «Урок анатомии» (1978, эссе), «Ночь и туман» (1983, драмы и киносценарии разных лет), «Энциклопедия мертвых» (1983, рассказы). Ряд произведений был опубликован посмертно, в частности, сборник интервью «Горький осадок опыта» (1990), «Лютня и шрамы», (1994, рассказы) и др. В 70-е гг. Данило Киш

несколько лет жил во Франции и преподавал сербско-хорватский язык в университетах Страсбурга, Лилля и Бордо. С 1981 г. до кончины постоянно жил в Париже.

Данило Киш – лауреат многих литературных премий, на родине и за рубежом, кавалер Ордена Искусств и изящной словесности (Французская Республика, 1994), член-корреспондент Сербской академии наук и искусств (1988). В 1989 г. был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Повесть «Гробница для Бориса Давидовича» вызвала ожесточенную полемику, негативные оценки, оскорбительные нападки и обвинения в плагиате, ответом на которые стала книга эссе «Урок анатомии» (1978), но она же принесла писателю международную известность. Более двух лет продолжался спор, в котором писатель отстаивал право на свой творческий метод и на собственное мировоззрение. Он всегда был противником политизации эстетики и эстетизации политики.

Произведения Д.Киша переведены на 40 языков, а «Гробница для Бориса Давидовича» – на 28. На русском языке публикуется впервые.

Елена Сагалович

Нож с рукояткой из розового дерева	5
Свиноматка, пожирающая свой приплод	20
Механические львы	34
Магическое коловращение карт	61
Гробница для Бориса Давидовича	84
Псы и книги	127
Краткая биография А.А. Дармолатова (1892–1968)	146
Об авторе. Е. Сагалович	156

Литературно-художественное издание 16+

Данило

Киш

**Гробница
для
Бориса
Давидовича**

с е м ь г л а в

о д н о й п о в е с т и

Выпускающий редактор

Г. С. Чередов

Младший редактор

Е. В. Неледва

Художественный редактор

Т. Н. Костерина

Оператор компьютерной верстки

А. Ю. Бирюков

Оператор компьютерной верстки переплета

В. М. Драновский

Технолог

М. С. Кырбаш

ООО «Центр книги Рудомино»

109189, Москва, ул. Никольямская, д. 1

Отдел реализации издательства: (495) 915-35-18

e-mail: synkova@libfl.ru, amin@libfl.ru

<http://www.facebook.com/CentreBook>

Технологическое сопровождение

и допечатная подготовка ООО «Бослен»

(499) 270-09-59, (495) 971-89-09

<http://www.boslen.ru>

Подписано в печать 08.11.2017

Формат 84х108/32

Тираж 1000 экз.

Заказ № 8113

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»,

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область,

г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,

т. 8(499)270-73-59.

